

БОЛЬШИЕ ФФ КНИГИ

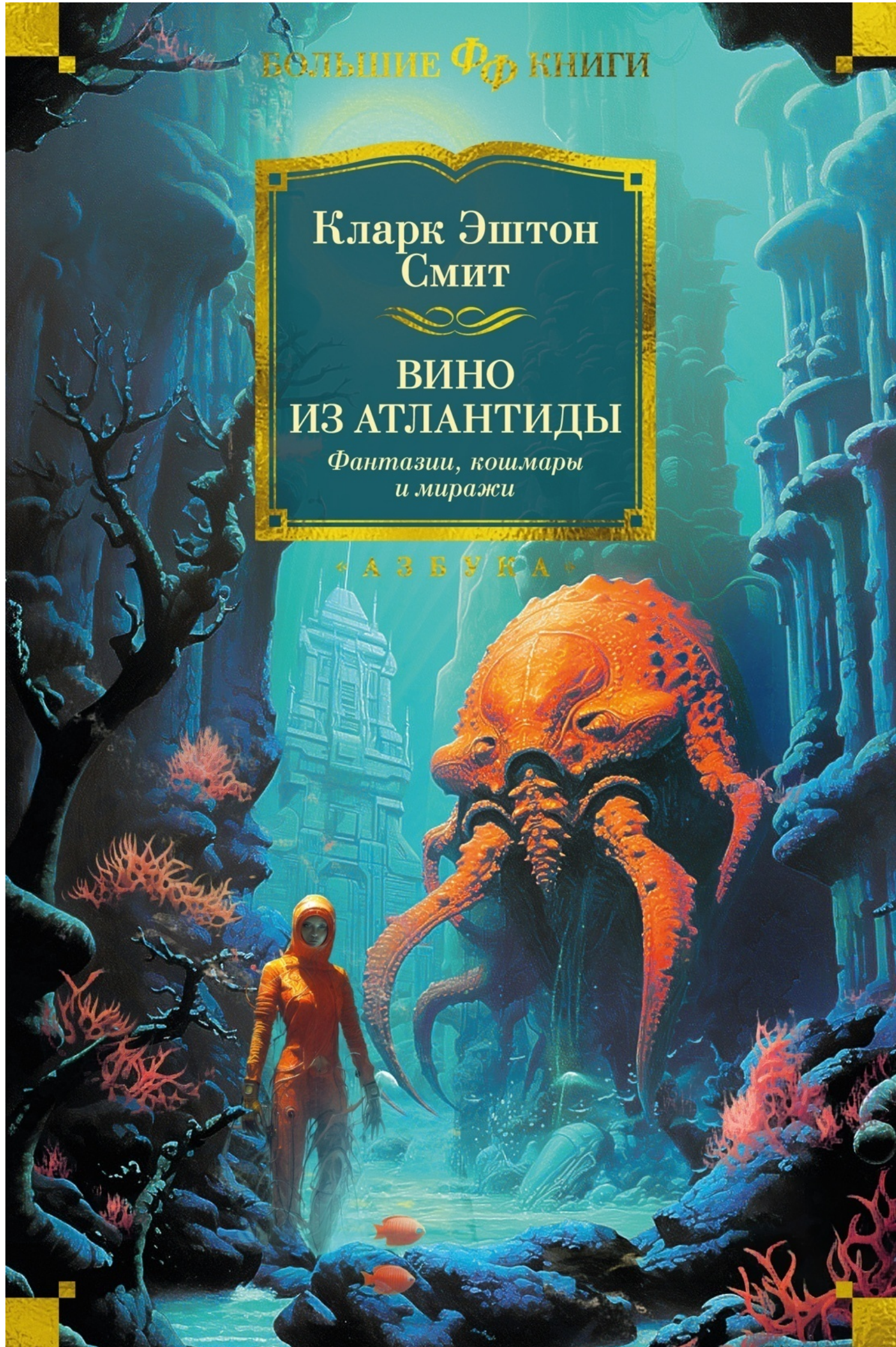
Кларк Эштон
Смит



ВИНО ИЗ АТЛАНТИДЫ

*Фантазии, кошмары
и миражи*

« А З В У К А »



Фантастика и фэнтези. Большие книги

Кларк Смит

**Вино из Атлантиды.
Фантазии, кошмары и миражи**

«Азбука-Аттикус»

1925–1931

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-445

Смит К. Э.

Вино из Атлантиды. Фантазии, кошмары и миражи /
К. Э. Смит — «Азбука-Аттикус», 1925–1931 — (Фантастика и
фэнтези. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24410-8

Умопомрачительные неведомые планеты, давно исчезнувшие или еще не возникшие континенты, путешествия между мирами и временами, во времени и в безвременье, гибельные леса и пустыни, страшные твари из далеких галактик, демоны-цветы и демоны-трупоеды (угадайте, кто страшнее), древние волшебницы и честолюбивые некроманты, рискующие и душой, и телом, а также оборотни, вампиры, восставшие из мертвых, безымянные чудовища, окаменевшие доисторические кошмары и оживающий камень... Кларк Эштон Смит (1893-1961) — один из трех столпов «странной фантастики» 1930-х (вместе с Робертом И. Говардом, создателем Конана, и, конечно, творцом «Мифов Ктулху» Говардом Филлипсом Лавкрафтом, в чьих рассказах вымыслы Смита то и дело гостят), последователь Эдгара Аллана По и Амброза Бирса. Он переплавил фантастику в последнем огне романтической поэзии и дошел до новых пределов подлинного ужаса — так мир узнал, какие бесконечные горизонты способны распахнуть перед нами и фантастика, и хоррор, и Смиту очень многим обязаны и Рэй Брэдбери, и Клайв Баркер, и Стивен Кинг. В этом сборнике представлены рассказы 1925-1931 годов; большинство из них публикуются в новых переводах.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-445

ISBN 978-5-389-24410-8

© Смит К. Э., 1925–1931

© Азбука-Аттикус, 1925–1931

Содержание

Демону	7
Мерзостные порождения Йондо	8
Садастор	12
Девятый скелет	14
Последнее заклинание	17
Конец рассказа	20
Огненные призраки	31
Ночь в Мальнеане	34
Воскрешение гремучей змеи	38
Тринадцать призраков	42
Венера Азомбейская	44
Рассказ Сатампы Зейроса	58
Монстр из пророчества	65
Метаморфоза мира	86
Явление смерти	102
Убийство в четвертом измерении	105
Одержимый злом	111
Сатир	119
Крипты памяти	123
Планета мертвых	124
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Кларк Смит

Вино из Атлантиды

Clark Ashton Smith

The Collected Fantasies of Clark Ashton Smith (Vol. 1–3): The End of the Story. The Door to Saturn. A Vintage from Atlantis

© 2006, 2007 by The Literary Estate of Clark Ashton Smith

© Б. Л. Грызунов, перевод, 2023

© Д. С. Кальницкая, перевод, 2023

© М. В. Клеветенко, перевод, 2023

© М. Д. Лахути, перевод, 2023

© С. Б. Лихачева, перевод, 2011

© К. П. Плешков, перевод, 2017, 2023

© А. А. Савиных, перевод, 2023

© И. А. Тетерина, перевод, 2004, 2023

© А. С. Хромова, перевод, 2023

© А. Б. Грызунова, примечания, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

* * *

Демону

Поведай мне множество историй, о великодушный, о злонравный демон, но не рассказывай тех, о которых я слышал или когда-либо грезил – ну разве что смутно или изредка. Нет, не рассказывай ни о чем, что лежит в границах времени и в пределах пространства, ибо меня утомили занесенные в летописи года и освоенные земли; ни острова, что лежат к западу от страны Китай, ни закатные края Инда недостаточно далеки, чтобы поселить там мои замыслы, и Атлантида слишком юна, чтобы их вместить, и со времен, когда континент Му видел солнце, прошло еще мало эонов.

Поведай множество историй, но таких, о которых не сложены легенды и молчат мифы нашего и сопредельных миров. Расскажи, коли пожелаешь, о временах, когда луна была юна и моря ее кишели сиренами, а горы с подножий до пиков покрыты были цветами; расскажи о планетах, седых от древности, о мирах, куда не заглядывал смертный астроном и чьи таинственные небеса и горизонты ошеломляли провидцев. Поведай об огромных цветах, в чаше которых, как в колыбели, может уснуть женщина; об огненных морях, бьющих прибоем в глыбы вечного льда; о благовониях, способных за один вдох погрузить в вечный сон; о безглазых титанах, живущих на Уране, и о существах, что бродят под зеленым светом двух солнц, лазурного и оранжевого. Расскажи о немыслимом страхе и невообразимой любви в сферах, откуда наше солнце видится лишь безымянной звездой, куда его лучи и вовсе не проникают.

Мерзостные порождения Йондо

Песок в пустыне Йондо не таков, как песок других пустынь; ибо Йондо расположена ближе всего к краю света, и неведомые ветра, прилетающие из бездны, которую не измерит ни один астроном, засеяли ее погибельные просторы серой пылью разрушающихся планет, черным пеплом погасших солнц. Над ее изрытой, складчатой поверхностью высятся темные, округлые горы, отчасти нездешнего происхождения – многие суть не что иное, как упавшие с небес астероиды, полузасыпанные зловещими песками пустыни. Из подземного мира сюда пробираются твари, каким в порядочных землях путь преграждают охранительные божества; но нет благих божеств в пустыне Йондо, где обитают блеклые духи исчезнувших звезд и дряхлые демоны, что остались бездомными скитальцами после крушения их преисподней.

Был полдень весеннего дня, когда я вышел из бесконечных кактусовых зарослей, где меня бросили жрецы-дознаватели Онга, и увидел пред собою серое преддверие Йондо. Повторю, был полдень весеннего дня; но в этом фантастическом лесу не нашлось ни признаков весны, ни даже воспоминаний о ней; и распухшие, гниющие, красновато-бурые выросты, среди которых я пробирался, походили не на обычные кактусы, а на омерзительные коряги, едва поддающиеся описанию. Самый воздух отяжелел, пропитанный удушливой вонью разложения, и пятна лишайников, словно проказа, расплзлись по черной земле и рыжеватой растительности. С поваленных кактусов, уставясь на меня блестящими глазами цвета охры, лишенными век и зрачков, поднимали головы бледно-зеленые гадюки. Много часов их взгляды преследовали меня, и неприятно было видеть чудовищные грибы с бесцветными ножками и поникшими ядовито-лиловыми шляпками, что росли по топким берегам зловонных бочагов; при моем приближении по желтой воде разбегались пугающие круги, отнюдь не утешительные для человека, чьи нервы напряжены до предела после не передаваемых словами пыток. Когда же и болезненно раздутые кактусы сделались мельче и заметно реже, а в промежутках между ними поползли ручейки пепельно-серого песка, я начал догадываться, какую великую ненависть пробудило в жрецах Онга мое кощунство и как на самом деле страшна их злобная мстительность.

Я не буду описывать в подробностях, какие неосторожные поступки привели меня, беспечного чужака из дальних стран, в руки ужасных чародеев и мистериархов, служителей львоглавого Онга. Поступки эти, как и подробности моего ареста, вспоминать мучительно; сильнее всего хочется забыть обтянутую драконьими кишками и посыпанную алмазным порошком дыбу, на которой растягивали обнаженных людей; или ту темную комнату с шестидюймовыми отверстиями у самого пола – оттуда сотнями выползали раскормленные трупные черви из близлежащих катакомб. Довольно будет сказать, что, истощив запасы жуткой фантазии, мои истязатели завязали мне глаза и неимоверно долгие часы везли меня на верблюде, а в предрассветных сумерках бросили посреди зловещего леса. Мне сказали, что я волен идти куда хочу, и в знак милосердия Онга дали для пропитания черствую ковригу и небольшой бурдюк с затхлой водой. В полдень того же дня я вступил в пустыню Йондо.

Все это время я не думал повернуть назад, несмотря на весь ужас гниющих кактусов и ютящихся между ними злобных созданий. Теперь же я замедлил шаг, памятуя, какие отвратительные легенды рассказывают о земле, где я очутился; ибо немногие рискуют зайти сюда по собственной воле. И еще меньше тех, кто вернулся, бессвязно повествуя о невиданных ужасах и диковинных сокровищах; руки и ноги их вечно трясутся, как у припадочных, в глазах под поседевшими бровями и ресницами горит безумный огонь – все это не вызывает желания следовать по их стопам. Поэтому я застыл в нерешительности у границы безжизненных песков, и трепет нового страха охватил мои истерзанные внутренности. Жутко было идти дальше, жутко и возвращаться – я не сомневался, что на этот случай у жрецов для меня заготовлен прием. Итак, я подождал немного и двинулся дальше, на каждом шагу проваливаясь в тошно-

творно-мягкое, преследуемый по пятам некими длинноногими насекомыми, что встретились мне среди кактусов. Насекомые эти, цветом напоминавшие недельной давности труп, размером были с тарантула, но когда я оборотился и наступил на ближайшее, поднялась ядовитая вонь еще мерзее расцветки. Поэтому я пока старался не обращать на них внимания.

Право, это были всего лишь мелочи среди ужасов моего положения. Впереди, под огромным болезненно-багровым солнцем, на фоне черных небес раскинулась пустыня Йондо, беспредельная, как страна бредовых видений, порожденных гашишем. Вдали, у самого горизонта высились округлые горы, о которых я уже говорил; а в промежутке тянулись ужасные серые пустоши и невысокие безлесные холмы, словно горбатые спины наполовину зарытых в песок чудовищ. На пути мне попадались громадные ямы, оставленные ушедшими глубоко в землю метеоритами; влажно поблескивали в пыли многоцветные драгоценные камни, которым я не знал названия. Поваленные кипарисы гнили у стен разрушенных мавзолеев; по испятнанному лишайниками мрамору ползали жирные хамелеоны с царственными жемчужинами во рту. За грядами холмов скрывались города, где ни единого камня целым не осталось, – громадные древние города, отдающие пустыне осколок за осколком, атом за атомом. Измученный пытками, я тащился по необъятным мусорным кучам, что были когда-то могучими храмами, и под ногами у меня падшие боги хмурились крошащимся песчаником и скалились растресканным порфиром. На всем лежало зловещее безмолвие; нарушали его лишь сатанинский хохот гиен да шорох гадюк в гуще сухих колючек и в заброшенных садах, заросших крапивой и дикой рутой.

С вершины одного кургана я увидел причудливое озеро, непроницаемо-черное и зеленое, как малахит, обведенное по краю блистающими отложениями соли. Воды его наполняли углубление в виде чаши далеко внизу, а груды соли громоздились почти у моих ног, и я понял, что озеро это – всего лишь горчащий остаток давно высохшего моря. Я спустился к темной воде и погрузил в нее руки; но древняя морская вода немилосердно щипала и разъедала кожу, и я поспешно отступил – уж лучше терпеть пустынную пыль, что окутала меня тягучим саваном.

Здесь я решил недолго отдохнуть и, побуждаемый голодом, употребил часть издевательски скудной провизии, которой снабдили меня жрецы. Я намеревался, если позволят силы, двигаться дальше и достичь земель, что лежат к северу от Йондо. Земли эти поистине безрадостны, однако безрадостность их – обычного свойства, не то что в Йондо. Изредка туда заходят кочевники. Если фортуна будет ко мне благосклонна, я могу встретить кого-нибудь из них.

Жалкая трапеза подкрепила меня, и впервые за не знаю сколько недель – счет времени я давно потерял – мне послышался тихий шепот надежды. Трупного цвета насекомые давно отстали. Покамест мне не встречалось больше ничего и вполовину столь жуткого, несмотря на гробовое безмолвие и рассыпающиеся прахом руины вокруг. Я подумал было, что ужасы Йондо несколько преувеличены.

И тут с холма надо мною донесся дьявольский смех. Он раздался внезапно, испугав меня сверх всякой меры, и все продолжался, не меняясь ни единой нотой, будто на холме веселился полоумный демон. Запрокинув голову, я увидел темное устье пещеры, ошетилившееся зелеными сталактитами, – я не заметил его прежде. Оттуда, казалось, и доносился звук.

Я опасливо вглядывался в темный провал. Смех раздался громче, но я по-прежнему ничего не видел. Наконец я различил в черноте бледный отблеск, и вдруг стремительно, как в кошмарном сне, предо мною явилась чудовищная тварь. У нее было бледное, безволосое, яйцевидное туловище размером с суягную козу, и тело это опиралось на девять длинных шатких суставчатых лап, будто у громадного паука. Тварь пробежала мимо меня к озеру, и я разглядел, что на ее нелепо приплюснутой морде нет глаз, над головой торчат два узких, острых, как ножи, уха, а длинный морщинистый нос наподобие хобота свисает ниже толстогубой пасти, скалящей в вечной ухмылке нетопыринные зубы.

Существо стало жадно пить едкую воду, а утолив жажду, обернулось и словно почуяло меня; сморщенный нос приподнялся и повернулся ко мне, шумно принюхиваясь. Убежало бы

существо или собиралось на меня броситься – не знаю; я не вынес этого зрелища и сам кинулся бежать на трясущихся ногах, петляя между громадными валунами и грядами намытой у берега соли.

Наконец, совершенно запыхавшись, я остановился. Погони не было. Я сел, все еще дрожа, в тени валуна, но отдохнуть мне было не суждено, ибо тут началось второе из тех фантастических приключений, что принудили меня поверить во все слышанные прежде безумные легенды.

Еще больше, чем дьявольский смех, напугал меня вопль, внезапно раздавшийся у самого моего локтя. Звук шел от слежавшегося соленого песка, будто женщина кричит от невыносимой боли или бьется, беспомощная, в руках демонов. Я обернулся. Предо мной была истинная Венера, совершенная в своей белоснежной наготе, без единого видимого изъяна, только погруженная до пупка в песок. Расширенные от ужаса глаза ее смотрели на меня с мольбой, и нежные, словно лепесток лотоса, руки простерлись ко мне в умоляющем жесте. Я бросился к ней – и коснулся мраморной статуи, что полуприкрыла искусно вырезанные веки, грезя о забытых столетиях. Песок скрыл от взора утраченную прелесть ее бедер и лодыжек. Вновь бежал я в страхе и вновь услышал крик мучительной боли, но не обернулся и не увидел больше молящих рук и глаз.

Вверх, по долгому склону к северу от проклятого озера, оскальзываясь на обломках базальта, спотыкаясь о куски камня в прожилках отливающих прозеленью металлов, проваливаясь в соляные ямы и наносы праха, которому нет названия, по уступам, оставленным в неизмеримой древности отступающим морем, бежал я, словно из одного кошмарного сна в другой. Порой в ушах у меня раздавался холодный шепот – и нашептывал не встречный ветер; оглянувшись назад у края очередного уступа, я заметил причудливую тень, бегущую шаг в шаг за моей собственной тенью. Та, другая тень принадлежала не человеку, не обезьяне и никакому известному нам зверю: слишком гротескно вытянута голова, слишком скрючено приземистое туловище, и никак не рассмотреть, то ли у тени пять ног, то ли пятая нога на самом деле хвост.

Ужас придал мне сил, и лишь достигнув макушки холма, я решился оглянуться снова. Фантастическая тень по-прежнему держалась рядом с моей, и теперь до меня долетел странный, донельзя тошнотворный запах, гнусный, как вонь летучих мышей, годами висящих в склепе среди гнили и разложения. Я пробежал много лиг; над невероятными, словно бы инопланетными горами на западе красное солнце клонилось к закату, а сверхъестественная тень удлинялась вместе с моей, все держась на том же расстоянии у меня за спиной.

За час до заката мне встретился круг невысоких колонн, чудом устоявших среди развалин, подобных огромной груде разбитых черепков. Проходя меж колоннами, услышал я тихий скулеж, словно дикий зверь скулит, раздираемый яростью и страхом. Я обернулся и увидел, что тень не последовала за мною в круг. Я остановился, немедленно предположив, что нашел убежище, куда нежеланный фамилляр не сможет войти; и действия тени подтвердили мою догадку. Тварь застыла в нерешительности, а потом заметалась по кругу, то и дело останавливаясь между колоннами. Наконец она двинулась прочь, к заходящему солнцу, и затерялась в пустыне.

Целых полчаса не смел я пошевелиться; затем надвигающаяся ночь, обещая новые ужасы, погнала меня дальше, на север, сколько хватит сил. Ибо теперь я достиг самого сердца Йондо, где, быть может, водятся демоны и фантомы, не питающие почтения к убежищу в круге колонн.

Пока я брел вперед, освещение удивительным образом изменилось; пылающий шар солнца, спускаясь к горизонту, погрузился в зловонную дымку и тускло просвечивал сквозь испарения – в них пыль разрушенных храмов и усыпальниц Йондо смешалась с гнусными миазмами, что поднимались ввысь над черной неизмеримой пропастью за наипоследнейшим краем нашего мира. При таком освещении вся мертвенная пустыня, округлые горы, извилистые гряды холмов и затерянные города приобрели фантастический мрачно-багровый оттенок.

И тогда с севера, где сгушались тени, явилось поразительное создание – высокий человек, с ног до головы закованный в кольчугу; вернее, я лишь предполагал, что это человек. Каждый его шаг по растресканной земле отдавался печальным звоном. Когда он приблизился, стало видно, что доспех его сделан из меди, весь в пятнах прозелени, а голову венчает шлем, тоже медный, с круто изогнутыми рогами и зубчатым гребнем. Я говорю «голову», потому что становилось темно и мне было плохо видно издали, но, когда видение подошло вплотную, я разглядел, что под налобником удивительного шлема нет лица – очертания пустого провала на миг ясно обрисовались в тусклом свете. Затем призрак все с тем же тоскливым звоном двинулся дальше и исчез.

А вслед за ним, пока еще не догорел закат, неестественно громадными шагами приблизилось другое видение и остановилось, возвышаясь надо мной в багряных сумерках, – чудовищная мумия какого-нибудь древнего царя, по-прежнему увенчанная блистающим золотом, но лик, представший моему взору, был изъеден чем-то более грозным, нежели время и могильные черви. На скелетоподобных ногах развевались обрывки гробовой пелены, а над украшенной сапфирами и лапами короной пугающе покачивалось нечто черное; но я поначалу и вообразить не мог, что это такое. Вдруг в черноте раскрылись два раскосых алых глаза, мерцающих, словно угли преисподней, а в обезьяньей пасти блеснули два клыка, будто ядовитые змеиные зубы. Приплюснутая, голая, бесформенная голова на непропорционально длинной шее нырнула вниз и зашептала мумии на ухо. Затем единым шагом гигантский лич вдвое сократил расстояние между нами; из складок рваного погребального покрова показалась иссохшая рука. Когтистые костяные пальцы, унизанные драгоценными камнями, потянулись к моему горлу...

Прочь, прочь, сквозь безмерные века безумия и ужаса бежал я, изнемогая, от этих шарящих пальцев, неотступно преследующих меня из мрака, что клубился за спиной. Прочь, по собственным следам, не помня себя, ни мгновения не колеблясь; назад, к встреченным мною прежде мерзостным порождениям пустыни, к безымянным руинам, к гибельному озеру, к зарослям отвратительных кактусов – туда, где ждали моего возвращения безжалостные жрецы-дознатели Онга.

Садастор

Слушайте же историю, которую поведал некоей прекрасной ламии демон Харнадис, сидя вместе с нею на вершине горы Мофи над истоками Нила в те годы, когда сфинкс был еще молод. Ламия была раздосадована, ибо красота ее стала зловещей легендой как в Фивах, так и в Элефантине, отчего мужчины страшились ее уст и опасались ее объятий, и у нее уже почти две недели не было возлюбленного. Она била змеиным хвостом по земле и тихо стонала, проливая те самые мифические слезы, которыми плачут змеи. И вот что рассказал ей демон, желая ее утешить.

Давным-давно, во времена алых эпох моей юности, говорил Харнадис, я ничем не отличался от прочих молодых демонов и любил похвалиться проворством своих крыльев, совершая фантастические полеты: стервятником парил я и витал над Тартаром и безднами Пифона или взмывал в бескрайнюю черноту неба к звездным орбитам. Я следовал за Луной от вечерних сумерек до утренней зари и видел тайны ее лика, подобного Медузе, который она вечно отвращает от Земли. Я читал сквозь наледь итифаллические руны на колоннах, до сих пор сохранившихся в ее пустынях; и мне ведомы иероглифы, начертанные на стенах ее безнадежно заснеженных городов, хранящие разгадки забытых тайн и намекающие на события древней как мир истории. Я пролетал сквозь тройное кольцо Сатурна и совокуплялся с прекрасными василисками на островах высотой в лигу посреди колоссальных океанов, где каждая волна подобна вершинам и пропастям Гималаев. Я бросал вызов облакам Юпитера и черным замерзшим безднам Нептуна, что увенчан вечным светом звезд; я странствовал среди далеких бесчисленных солнц, подле которых известное тебе Солнце – всего лишь погребальная свеча в тесной гробнице. Там, на гигантских планетах, я вершил свой полет над горными террасами, громадными, как упавшие астероиды, где служат невообразимому Злу, имеющему тысячи имен и обличей, поклоняясь ему непостижимыми способами. Иногда, усевшись на лепестках высоченных растений, что цветом подобны живой плоти и источают аромат, дарующий экстаз непередаваемых грез, я насмеялся над ищущими пару чудовищами и приманивал их самок, и те пели и вились вьюном у подножья моего укрытия.

В неутомимых странствиях среди далеких галактик однажды оказался я на забытой, умирающей планете, чье имя на языке ее народов, не оставивших следа в истории, звучало как Садастор. Огромная, унылая, серая в свете угасающего солнца, изрезанная гигантскими трещинами и от полюса до полюса покрытая бескрайними песчаными пустынями, она висела в пустоте, лишённая спутников, точно символ далекого будущего для других миров, что красивее и моложе. Прервав свой путь меж звезд, я полетел вдоль ее экватора, паря на раскинутых крыльях над вершинами циклопических вулканов, ужасающими голыми хребтами древних гор и покрытыми мертвенно-бледной солью пустынями, очевидно бывшими некогда ложем древних высохших океанов.

В самом центре одного такого океанского ложа, за горами, что прежде были берегом первозданного океана, в нескольких лигах ниже их подножья, обнаружил я широкую извилистую долину, уходившую в самые глубокие бездны этого гибнущего мира. Ее окаймляли отвесные скалы, высокие утесы, контрфорсы и башни из ржаво-красного камня, изрезанные волнами древних морей, что выточили из них миллионы зловещих причудливых фигур. Я медленно парил среди этих утесов, уходивших по прихотливой спирали на многие мили в глубины окончательного и безысходного запустения, и свет надо мною тускнел по мере того, как уступы и зубчатые стены из красного камня вздымались все выше между моими крыльями и небесами. А когда я огибал самую глубокую пропасть, куда солнечные лучи падали лишь в краткие мгновения полдня, среди пурпурных камней вечной тени я увидел омут темно-зеленой воды –

последний остаток океана, тихо угасающий среди крутых неприступных стен. Из этой заводи донесся голос, сладкий, подобно смертному вину из мандрагоры, и слабый, точно бормотание морских раковин. И голос этот молвил:

– Остановись, постой, молю тебя, и Расскажи мне, кто ты, пришедший сюда, чтобы скрасить проклятое одиночество моей смерти?

Остановившись у края заводи, я взглянул в тенистые глубины и увидел поднявшуюся из воды бледную, мерцающую женскую фигуру – фигуру сирены с волосами цвета океанских водорослей, берилловыми глазами и дельфиньим хвостом.

– Я демон Харнадис, – отвечал я ей. – Но кто ты, живущая в этой мерзостной яме, в глубине умирающего мира?

– Я сирена, – сказала она, – и имя мое Лиспиал. От морей, где я вволю резвилась много столетий назад, привлекая отважных моряков на смерть, к берегам моего гибельного острова, осталось лишь это жалкое озерцо. Увы! Озерцо мелеет с каждым днем, а когда оно полностью исчезнет, погибну и я.

Она разрыдалась, и ее соленые слезы смешались с соленой водой.

– Не плачь, – ответил я, желая ее утешить, – ибо я подниму тебя на своих крыльях и унесу в новый мир, где небесно-голубые воды изобильных морей покрывают замысловатыми полотнищами бледной пены пологие зеленые и золотистые берега первозданной весны. Они могут стать твоим домом на долгие эпохи, и штормы будут в красном свете заката гнать к твоим скалам галеры с расписными веслами и большие баркасы под пурпурными парусами; и громкий треск их сокрушенных ростров будет сливаться со сладким колдовством твоего гибельного пения.

Но она продолжала безутешно рыдать, причитая:

– Ты так добр ко мне, но это не поможет, ибо я рождена в водах этого мира и в водах его я должна умереть. Увы! Прощайте, мои любимые моря, что бесконечным сапфировым покрывалом простирались от вечно цветущих берегов до земель, покрытых нетающими снегами! Прощайте, морские ветры, что несли ароматы соли и водорослей, дивные благоухания океанских цветов, и цветов земли, и далеких экзотических бальзамов! Прощайте, квинквиремы давно завершившихся войн и торговые суда с парусами и такелажем из виссона, что лавировали среди варварских островов, доверху нагруженные топазами, виноцветным гранатом, нефритом и идолами из слоновой кости, в те древние времена, что стали теперь всего лишь волшебной легендой! Прощайте, мертвые капитаны, прекраснейшие мертвые моряки, которых волны отлива приносили ко мне на ложа из янтарных водорослей, в мои пещеры под поросшим кедрами мысом! Прощайте, поцелуи, коими я покрывала их холодные бледные губы, их сомкнувшиеся мраморные веки!

Печаль и жалость охватили меня при ее словах, ибо я понял, что слышу горестную правду и иссякающие горькие воды обрекают ее на смерть. После многих соболезнований, столь же бессмысленных, сколь и тщетных, я в тоске попрощался с нею и тяжело полетел прочь среди спиральных утесов тем же путем, каким явился, возносясь все выше в мрачные небеса, пока планета Садастор не превратилась в едва заметную точку далеко в космосе. Но трагическая тень подобной судьбы и горе сирены мучили меня еще много часов, и лишь поцелуи прекрасной и свирепой вампириши на далекой, юной, буйно цветущей планете помогли мне забыть Лиспиал. И сейчас я рассказал тебе ее историю, дабы ты могла утешаться размышлениями о бедственной судьбе, что бесконечно печальнее и безнадежнее, чем твоя собственная.

Девятый скелет

Безоблачным апрельским утром я отправился на свидание с Гвиневрой. Мы договорились встретиться у Каменного хребта; и место нашей встречи было хорошо известно нам обоим – круглая полянка, которую обступали сосны и усеивали большие валуны, на полпути между домом ее родителей в Ньюкасле и моей хижинкой на северо-восточной оконечности хребта, возле Оберна.

Гвиневра – моя невеста. Следует пояснить, что в то время, о котором я пишу, у ее родителей имелись определенные возражения против нашей помолвки, от которых они, к счастью, впоследствии отказались. Собственно, тогда дело дошло до того, что они запретили мне приходить, и мы с Гвиневрой могли встречаться лишь тайком и изредка.

Хребет – длинная и извилистая ледниковая морена, местами в соответствии со своим названием заваленная камнями, со множеством обнажений черной вулканической породы. Кое-где на склонах растут фруктовые сады, но вершины почти никто не возделывает, поскольку почва здесь в основном слишком тонкая и каменистая. Сосны со сплетенными ветвями, порой фантастических форм, напоминающих кипарисы на калифорнийском побережье, и узловатые низкорослые дубы придают пейзажу своеобразную дикую красоту, в которой местами чувствуется нечто японское.

От моей хижины до поляны, где я должен был встретиться с Гвиневрой, около двух миль. Поскольку я родился в тени Каменного хребта и прожил на нем или рядом с ним почти все свои тридцать с небольшим лет, я знаком с каждой веткой на его протяжении и до того апрельского утра вряд ли удержался бы от смеха, если бы кто-то сказал мне, что я могу заблудиться... С тех пор, уверяю вас, мне вовсе не до смеха...

Воистину то утро было словно создано для встречи влюбленных. Среди кустов клевера и в зарослях краснокоренника с большими белыми цветами, чей странный и тяжелый аромат насыщал воздух, деловито жужжали пчелы. Повсюду среди зелени полей мелькали весенние цветы: цикламены, желтые фиалки, маки, дикие гиацинты и литофрагмы. В промежутках между изумрудными каштанами, серо-зелеными соснами и темными, золотистыми, иссиня-зелеными дубами просматривались очертания гор Сьерра-Невада на востоке и голубоватого Берегового хребта на западе, за бледно-лиловой долиной Сакраменто. Следуя едва заметной тропой, я шел через поля, где приходилось пробираться среди груд валунов.

Все мысли мои были заняты Гвиневрой, и я лишь иногда бросал взгляд на окружающую меня красоту. Пройдя половину пути между моей хижинкой и местом встречи, я вдруг понял, что свет померк, и посмотрел вверх, подумав, естественно, что солнце закрыла оставшаяся незамеченной апрельская тучка. Представьте же мое удивление, когда я увидел, что лазурное небо стало зловеще-коричневым и посреди него отчетливо виднеется пылающее, подобно огромному красному круглому углю, солнце. Затем мое внимание привлекло нечто странное и незнакомое – что именно, я сразу не смог определить, – и удивление мое сменилось растущей тревогой. Остановившись и оглядевшись вокруг, я понял, что, сколь бы невероятным это ни казалось, я заблудился: сосны по обе стороны тропы были вовсе не теми, какие я ожидал увидеть, – выше и узловатее, чем те, которые я помнил. Корни их извивались подобно змеям, выступая над сухой почвой, на которой росли лишь скудные пучки травы. Валуны вокруг напоминали монолиты друидов, а формы некоторых из них могли присниться только в кошмарном сне. Думая, что все это, скорее всего, мне действительно снится, но пребывая в крайнем замешательстве, каковым редко сопровождаются нелепые и чудовищные видения в кошмарах, я тщетно пытался сориентироваться и найти какой-то знакомый объект посреди причудливого пейзажа.

Среди деревьев извивалась тропа, что вела, судя по всему, туда же, куда направлялся я, хотя и несколько шире той, по которой я шел прежде. Ее покрывала серая пыль; с каждым шагом она становилась все глубже, и в ней виднелись странные отпечатки ног, слишком худых и узких, непохожих на человеческие, несмотря на пять пальцев. При виде их я невольно содрогнулся, хотя и сам не понял отчего. Впоследствии я удивлялся, что не узнал их сразу, но тогда у меня не возникло никаких подозрений, лишь смутная тревога и неясный трепет.

Я шел дальше, а искривленные стволы, ветви и корни сосен вокруг обретали все более фантастичный и зловещий вид. Одни напоминали ухмыляющихся старух, другие походили на припавших к земле непристойных горгулий, третьи словно корчились в адских муках, четвертые будто содрогались в пароксизмах сатанинского хохота. Небо продолжало медленно темнеть, унылый и угрюмый коричневый оттенок сменился похоронным пурпуром, посреди которого тлело солнце, похожее на взошедшую из моря крови луну. Пурпур этот целиком окутал деревья и весь пейзаж, все погрузилось в противоестественный сумрак. Лишь камни становились все бледнее, чем-то напоминая надгробия, склепы и монументы. По сторонам тропы больше не зеленела весенняя трава – на голой земле, усеянной высохшими лишайниками цвета патины, кое-где покачивались омерзительного вида грибы с бледными ножками и темными шляпками.

Небо настолько потемнело, что казалось, наступили сумерки; я словно очутился в обреченном на гибель мире под лучами умирающего солнца. Не доносилось ни ветерка, ни звука – ни птиц, ни насекомых, ни вздохов сосен, ни шелеста листвы, лишь необычайная мрачная тишина, какая может быть только в бескрайней пустоте.

Деревья стали гуще, а затем расступились, и я вышел на круглую поляну. Здесь уже невозможно было ошибиться в природе камней-монолитов – то действительно были надгробия и могильные памятники, но такие древние, что буквы и цифры на них почти стерлись, а те немногие, что сохранились, были написаны на неизвестном мне языке. Вокруг царил дух непостижимой древности, тайны и ужаса. С трудом верилось, что жизнь и смерть могут быть настолько стары – даже окружавшие поляну корявые деревья будто склонялись под грузом бесчисленных лет. Ощущение чудовищной древности, воплощенной в этих камнях и соснах, лишь прибавило замешательства, укрепило мои страхи. Нисколько не приободрило меня и множество следов на мягкой земле вокруг надгробий, точно таких же, какие я уже видел раньше, – казалось, будто они отходят от окрестностей каждого камня, а затем возвращаются.

И тут я впервые услышал в мрачной тишине некий звук, помимо шороха собственных шагов. За моей спиной среди деревьев раздался негромкий и зловещий треск. Обернувшись, я прислушался; нервы мои и без того были натянуты до предела, а в голове, подобно орде ведьм на шабаше, проносились чудовищные страхи и жуткие фантазии.

Реальность оказалась не менее чудовищной! В тени деревьев мелькнуло что-то белое, и оттуда появился человеческий скелет, державший на руках скелет младенца! Он целеустремленно, размеренным шагом направился в мою сторону, и в его спокойной скользящей походке, несмотря на охватившие меня ужас и оцепенение, я ощутил некую страшную женственную грацию. Видение, не останавливаясь, прошло среди монументов и исчезло среди сосен по другую сторону поляны. Едва оно скрылось, тут же появилось второе, тоже со скелетом младенца на руках, и прошло мимо меня в том же направлении и с тем же тошнотворным изяществом.

Ужас, для которого это слово слишком слабо, страх за пределами страха сковал все мои члены, и мне показалось, будто на меня тяжким грузом наваливается неотвратимый и невыносимый кошмар. Передо мной появлялись из тени древних сосен скелет за скелетом, точно такие же, как и предыдущие, с той же жуткой легкостью движений и тоже с несчастными младенцами на руках, и шли туда же, где скрылся первый, следуя к той же загадочной цели. Они шли один за другим, пока я не насчитал восемь. Теперь мне стало ясно, откуда взялись странные следы, которые так меня встревожили.

Когда восьмой скелет скрылся из виду, взгляд мой, словно повинуюсь неодолимому зову, упал на ближайшее надгробие, рядом с которым я, к своему удивлению, увидел то, чего не замечал ранее, – свежерытую могилу, зиявшую темным провалом в мягкой почве. Возле моего локтя послышался негромкий треск, и лишенные плоти пальцы потянули меня за рукав. Рядом со мной стоял скелет, отличавшийся от прочих лишь тем, что не держал на руках младенца. С обворожительной безгубой улыбкой он снова потянул меня за рукав, словно увлекая к открытой могиле, и зубы его щелкнули, будто он пытался что-то сказать. Разум мой, охваченный невообразимым ужасом, больше не мог этого вынести, и мне показалось, будто я падаю в бескрайнюю клубящуюся черноту, ощущая прикосновение жутких пальцев к моей руке, пока сознание полностью меня не покинуло.

Когда я пришел в себя, меня держала за локоть Гвиневра. На ее прекрасном лице застыли удивление и тревога, а сам я стоял среди валунов на поляне, где мы назначили встречу.

– Во имя всего святого, Герберт, что с тобой такое? – испуганно спросила она. – Тебе плохо? Когда я пришла, ты стоял тут, словно оглушенный, и как будто не слышал меня и не видел, когда я с тобой заговорила. А когда я коснулась твоей руки, мне всерьез показалось, что ты готов лишиться чувств.

Последнее заклинание

На коническом холме, что возносится над сердцем Сазрана, столицы Посейдониса, на самом верхнем этаже темной башни сидел великий волшебник Малигрис. Башня эта, высеченная из добытого в глубинах земли темного камня, что прочнее адаманта, высилась над всеми прочими зданиями и отбрасывала на городские крыши и купола гигантскую тень, подобно тому как погружало во мрак людские умы зловещее могущество самого Малигриса.

Ныне Малигрис состарился, и ничто уже не могло рассеять с недавшую его черную тоску – ни всеисильные гибельные заклятья, ни ужасающие, причудливые демоны, ходившие у него в услужении, ни страх, который вселял он в сердца владык и священнослужителей. Восседавая в своем кресле, выточенном из бивней мастодонтов и изукрашенном жуткими и загадочными рунами, что были выложены из алых турмалинов и лазурных кристаллов, волшебник мрачно глядел в единственное ромбовидное окно из охряного стекла. Седые брови сошлись, прочертив белую полосу на потемневшем пергаменте его лица, а под бровями холодной зеленью светились глаза, похожие на осколки древнего айсберга. Борода Малигриса, наполовину седая, наполовину черная с сизым отливом, ниспадала почти до колен, скрывая многочисленные витиеватые символы, наискось вытканые серебром спереди на лиловой мантии. Вокруг в беспорядке лежали многочисленные орудия колдовского ремесла: черепа чудовищ и людей; сосуды, наполненные черными или янтарными жидкостями, о богомерзких свойствах которых ведомо было одному лишь Малигрису; небольшие, обтянутые кожей стервятников барабаны и изготовленные из костей и клыков кокодрилов кроталы, на которых следовало играть, произнося определенные заклинания. Мозаичный пол укрывали огромные шкуры серебристо-черных обезьян, а над дверью висела голова единорога, в которой обитал демон-фамильяр Малигриса, принявший обличье кораллового аспида с пепельно-серыми отметинами и бледно-зеленым брюшком. Повсюду громоздились оправленные в змеиную кожу древние тома с позеленевшими от времени застешками – в этих фолиантах крылись страшные предания Атлантиды, пентаграммы, дарующие власть над демонами Земли и Луны, заклинания, способные преобразовывать и разлагать элементы, рунические письмена на забытом языке Гипербореи, которые, если произнести их вслух, действовали вернее смертельного яда и сильнее любого зелья.

Хотя все эти предметы, овеянные могуществом и символизирующие власть, ввергали в ужас народы и вызвали жгучую зависть остальных чародеев, помыслы Малигриса были темны, его одолевало необоримое уныние; в сердце волшебника жила лишь усталость, подобно тому как в очаге, где когда-то бушевало яростное пламя, остается одна зола. Неподвижно сидел он и предавался размышлениям, пока вечернее осеннее солнце опускалось над городом в море. Яркие лучи пронзили охряное окно, позолотили иссохшие пальцы, и рубины-балэ в перстнях волшебника вспыхнули, подобно глазам демонов. Но в помыслах Малигриса не было ни света, ни огня; отстранившись от серого настоящего, от неотвратимой тьмы грядущего, он ошупью пробирался все дальше среди теней памяти, будто слепец, который более не способен увидеть солнце, но тщетно ищет его повсюду. И вереница воспоминаний, столь полных золотом и славой, и дни, окрашенные триумфом в пламенно-алый, и багрянец и пурпур времен его лучшей имперской поры – все это казалось ныне холодным и тусклым, неестественно померкло. Малигрис словно ворошил давно остывшие угли. Тогда волшебник обратился к своей юности, к тем невероятным далеким, туманом окутанным годам, где попрежнему нездешней звездой сияло одно неугасимое воспоминание – воспоминание о девушке по имени Нилисса, которую он любил в те дни, когда душа еще не алкала запретных знаний и не рвалась овладеть искусством некромантии. Вот уже много десятков лет как Малигрис и думать забыл о Нилиссе: его занимали мириады дел, жизнь его наполнилась неисчислимыми событиями, оккультными силами, сверхъестественными победами и опасностями. Но вот теперь Малигрис вспомнил о стройной

невинной деве, что так любила его, такого же стройного, юного и бесхитростного, но внезапно умерла накануне их свадьбы от неведомой хвори, и его щеку, потемневшую, словно у мумии, тронул призрачный румянец, в глубине глаз поминальными свечами вспыхнули огоньки. В мечтах зажглось навсегда ушедшее солнце юности, и волшебник увидел, как наяву, заросшую миртами долину Мерос, реку Земандер, по чьим вечнозеленым берегам прогуливался он с Нилиссой вечерней порою, глядя на зажигающиеся в небесах, в речной глади и в глазах возлюбленной первые летние звезды.

И ровным, невыразительным голосом, будто бы размышляя вслух, Малигрис обратился к обитающему в голове единорога демоническому аспиду:

– Аспид, задолго до того, как ты поселился у меня и обрел пристанище в черепе единорога, я знал одну девушку, что была прекрасной и нежной, словно тропическая орхидея, и так же быстро, как орхидея, увяла... Не я ли, о аспид, волшебник Малигрис, не я ли в совершенстве овладел всеми оккультными знаниями, не я ли повелеваю запретным и властвую над духами земли, моря и воздуха, над солнечными и лунными демонами, над живыми и мертвыми? И если таково мое желание, разве не могу я призвать Нилиссу в расцвете ее юности и красоты, выманить ее из навечно застывших могильных теней, дабы предстала она предо мною в этих самых покоях, в вечернем блеске осеннего солнца?

– Да, хозяин, – прошипел в ответ аспид, и голос его был тих, но на редкость пронзителен, – и впрямь ты Малигрис, в своих руках держишь ты средоточие некромантии и волшебства, ведомы тебе все заклятья и все магические фигуры. Ты можешь, если таково твое желание, вызвать Нилиссу из страны мертвых, снова узреть ее такой, какой была она, пока ее красоты не коснулся жадный могильный червь.

– Аспид, пристало ли, подобает ли мне призывать ее?.. Ожидают ли меня потери и сожаления?

Аспид, казалось, задумался, а потом еще тише и еще медленнее прошипел:

– Малигрису подобает поступать так, как он того пожелает. Кто, кроме самого Малигриса, способен решить, во благо или во зло тот или иной поступок?

– Иными словами, ты не советуешь мне ее вызывать? – Фраза эта прозвучала не вопросом, но утверждением, и аспид не снизошел до ответа.

Уперев подбородок в переплетенные пальцы, Малигрис погрузился в размышления. Потом встал, и в движениях его сквозили давно позабытые уверенность и живость, столь контрастирующие с испещренным морщинами лицом. Из разных уголков комнаты, с выточенных из черного дерева полок, из ларцов с замками из золота, желтой меди и электрума достал волшебник разнообразные инструменты и ингредиенты, необходимые для ритуала. На полу начертал он предписанные концентрические круги, встал в самом центре, зажег курильницы с нужными благовониями и начал громко читать длинный узкий свиток из серого пергамента, исписанный лиловыми и багряными рунами. Из курильниц повалил дым – голубой, белый, сиреневый; плотными облаками заволок он комнату, свился в подвижные столпы, скрыл солнце. Покои озарились бледным потусторонним светом, призрачным, точно свет восходящих над Летою лун. Неестественно медленно, не по-людски торжественно лился голос некроманта; будто священнослужитель, читал он нараспев, но вот дошел до самой последней руны, и голос затих, а потом смолкло и замогильное глухое эхо. И разошлись цветные туманные завесы. Все вокруг заливал тот же бледный сверхъестественный свет, а между Малигрисом и дверью, заслонив голову единорога, стоял призрак Нилиссы, какой была она в далекие годы юности; девушка чуть клонилась, подобно цветку на ветру, и улыбка на ее устах была исполнена беспечной терпкой юности. Нежная, белокожая, в простом наряде, с анемонами, вплетенными в черные локоны, с голубыми, будто внешнее небо, глазами – такой и помнил ее Малигрис. При взгляде на нее усталое сердце его забилось чаще, вспыхнул давно угасший жар желания.

– Ты Нилисса? Та самая Нилисса из заросшей миртами долины Мерос, моя невеста, которую я любил в золотые дни, что ушли вместе с канувшими в безвременье эпохами?

– Да, я Нилисса.

Голос ее журчал тем самым безыскусным серебром, которое столько лет отдавалось эхом в памяти Малигриса... Но пока он смотрел и слушал, в душе зародилось призрачное сомнение, столь же дикое и невыносимое, сколь и неотступное: та ли перед ним Нилисса, которую он знал? Не произошло ли в ней неуловимой перемены – столь малой, что и названия для нее не подберешь? Не похитили ли смерть и минувшие годы у его возлюбленной нечто непередаваемое – то, чего не сумело полностью вернуть колдовство? Так ли нежны ее очи, как прежде? Так ли блестят черные локоны, так ли строен и гибок стан? Малигрис не мог увериться в этом, и вслед за сомнением пришла тяжкая тревога, мрачное уныние стиснуло сердце, припорошив его пеплом. Все требовательнее всматривался Малигрис, все более недобрым становился его взгляд, и с каждым мгновением призрак все меньше напоминал прекрасную Нилиссу, с каждым мгновением теряли свою красоту изгиб губ и чело – не стройной была девушка перед ним, но худой, не локоны были у нее, но обычные волосы, не белокожая шея, но просто бледная. Снова навалились на Малигриса годы, гибнущая эфемерная надежда породила отчаяние. Не верил он более ни в любовь, ни в юность, ни в красоту, даже воспоминание о них обратилось в обманчивый морок – и не скажешь уже, было ли, не было. Остались лишь серость, и тени, и прах, лишь пустые тьма и холод, лишь гнетущая невыносимая усталость да неизлечимая мука.

Тонким, дрожащим голосом, так не похожим на тот, которым он читал прежние заклинание, произнес Малигрис слова, дарующие призраку свободу. Облачком дыма истаяла Нилисса, померкло лунное сияние, и покои вновь озарили последние солнечные лучи. Волшебник обратился к аспиду, и в голосе его слышался мрачный укор:

– Почему ты не предостерег меня?

– А разве не пропало бы втуне мое предостережение? Малигрис, тебе было ведомо все, кроме одной малости. И никак иначе не смог бы ты о ней узнать.

– Что же это за малость? Я узнал лишь, как тщетна мудрость, как бессильно волшебство, как ничтожна любовь, как обманчивы воспоминания... Скажи, почему мне не удалось вызвать к жизни ту Нилиссу, которую я знал или думал, что знал?

– Перед тобой предстала именно та Нилисса, – ответил аспид. – На это твоего искусства вполне хватило; но никакое заклинание не способно призвать твою собственную утерянную юность, вернуть пылкое бесхитростное сердце, которое любило Нилиссу, или тот страстный взгляд, который ты тогда устремлял на нее. Вот это, хозяин, тебе и надлежало узнать.

Конец рассказа

Это повествование было найдено в бумагах Кристофа Морана, студента, изучавшего право в Туре, после его необъяснимого исчезновения во время поездки к отцу в Мулен в ноябре 1789 года.

На Аверуанский лес опустились зловещие рыжевато-пурпурные осенние сумерки: вот-вот должна была разразиться гроза. Деревья вдоль дороги превратились в черные расплывчатые громады, а сама она, неясная и призрачная в сгущающейся мгле, казалось, слабо колыхается передо мной. Я пришпорил лошадь, утомленную долгим путешествием, которое началось еще на рассвете, и она, уже несколько часов недовольно трусившая вялой рысью, галопом припустила по темнеющей дороге меж исполинских дубов, что тянули к нам свои корявые сучья, словно пытались схватить одинокого путника.

С ужасающей быстротой на нас опускалась ночь, и темнота стремительно окутывала нас непроницаемой цепкой пеленой. Охваченный смятением и отчаянием, я вновь и вновь ожесточенно пришпоривал лошадь, но первые дальние раскаты приближающейся бури уже мешались со стуком копыт, и вспышки молний освещали дорогу, которая, к изумлению моему (я полагал, что нахожусь на главном Аверуанском тракте), странным образом сузилась и превратилась в хорошо утоптанную тропу. Решив, что сбился с пути, но не отважившись вернуться в пасть тьмы, туда, где стеной клубились грозовые тучи, я спешил вперед в надежде, что столь ровная тропинка приведет меня к какому-нибудь домику или замку, где я мог бы найти приют до утра. Надежды мои вполне оправдались, ибо через несколько минут я различил среди деревьев проблески света и неожиданно очутился на опушке леса. Впереди на невысоком холме возвышалось большое здание: в нижнем этаже его светилось несколько окон, а крыша казалась почти неразличимой на фоне бешено несущихся туч.

«Вне всякого сомнения, это монастырь», – подумал я, останавливая измученную лошадь и спешиваясь. Подняв тяжелый медный молоток в виде собачьей головы, я со всей силы ударил им о крепкую дубовую дверь. Раздавшийся звук оказался неожиданно громким и гулким и отозвался в темноте каким-то потусторонним эхом. Я невольно поежился. Но страх мой полностью рассеялся, когда через миг дверь распахнулась, открыв моему взору ярко освещенный огнем факелов коридор, и на пороге появился высокий румяный монах.

– Прощу пожаловать в Перигонское аббатство, – радушно пророкотал он.

Тотчас откуда-то появился еще один человек в рясе с капюшоном и увел мою лошадь в стойло. Не успел я бессвязно поблагодарить своего спасителя, как разразилась буря и страшные потоки дождя под аккомпанемент приближающихся раскатов грома с демонической яростью обрушились на закрывшуюся за мной дверь.

– Какая удача, что вы так своевременно нас нашли, – заметил монах. – В такую непогоду в лесу пришлось бы несладко не то что человеку, но и зверю.

Догадавшись, что я столь же голоден, сколь и изнурен, он провел меня в трапезную и поставил передо мной миску со щедрой порцией баранины с чечевицей, кувшин отменного крепкого красного вина и дал ломоть хлеба.

Я набросился на еду, а он уселся за стол напротив меня. Несколько утолив голод, я воспользовался возможностью и повнимательнее рассмотрел своего гостеприимного хозяина. Тот был высок и крепко сбит, а лицо со лбом столь же широким, как и мощная челюсть, выдавало острый ум вкупе с жизнелюбием. От него веяло каким-то изяществом и утонченностью, образованностью, хорошим вкусом и воспитанием. «Этот монах, должно быть, глотает книги с не меньшей охотой, чем вина», – подумал я. Очевидно, по выражению моего лица тот догадался, что меня мучает любопытство, ибо, словно отвечая на мои мысли, представился:

– Я – Илларион, настоятель Перигона. Мы принадлежим к ордену бенедиктинцев, живем в мире с Богом и людьми и не считаем, что дух следует укреплять, умерщвляя или истощая плоть. Наши кладовые полны самых разнообразных яств, а в погребах хранятся самые изысканные аверуанские вина. И если вас это интересует, у нас имеется библиотека, заполненная редкостными томами, бесценными манускриптами, величайшими шедеврами язычества и христианства, в числе которых есть даже несколько уникальных рукописей, уцелевших во время пожара в Александрии.

– Весьма признателен вам за гостеприимство, – отвечал я, кланяясь. – Я Кристоф Моран, изучаю право. Я ехал из Тура домой, в имение моего отца под Муленом. Я тоже люблю книги, и ничто не могло бы доставить мне большего удовольствия, нежели возможность осмотреть библиотеку столь богатую и диковинную, как та, о которой вы говорите.

С этой минуты и до конца ужина мы беседовали о классике и соревновались в цитировании римских, греческих и христианских авторов. Мой хозяин продемонстрировал столь блестящую образованность, широкую эрудицию и глубокое знакомство как с древней, так и с современной литературой, что я в сравнении с ним почувствовал себя желторотым школяром, только делающим свои первые шаги на пути к образованности. Он, в свою очередь, был настолько любезен, что похвалил мою весьма далекую от совершенства латынь, так что к тому времени, когда я осушил бутылку красного вина, мы уже по-приятельски болтали, словно два старых друга.

Всю мою усталость точно рукой сняло, и меня вдруг охватило небывалое ощущение удовольствия и телесной бодрости вкупе с необыкновенной ясностью и остротой ума. Поэтому, когда добрый настоятель предложил пройти в библиотеку, я с готовностью согласился.

Он провел меня по длинному коридору, по обе стороны которого располагались монашеские кельи, и большим медным ключом, свисавшим с пояса, отпер дверь огромного зала с высокими потолками и немногочисленными окнами-бойницами. Воистину, мой хозяин нисколько не преувеличивал, повествуя о сокровищах библиотеки, ибо длинные полки ломились от книг, и еще множество фолиантов громоздились на столах или грудami возвышались в углах. Там были свитки папируса и пергамента, диковинные византийские и коптские книги, древние арабские и персидские манускрипты в раскрашенных или усыпанных драгоценными камнями переплетах; десятки бесценных инкунабул, сошедших с первых печатных станков; бесчисленные монастырские списки античных авторов в переплетах из дерева и слоновой кости, украшенные богатыми иллюстрациями и тиснением, которые сами по себе представляли подлинные произведения искусства.

С осторожностью, выдающей истинного ценителя, Илларион раскрывал передо мной том за томом. Многих книг я никогда раньше не видал, а о некоторых даже и не слышал. Мой горячий интерес и неподдельный восторг явно доставляли ему удовольствие, ибо через некоторое время монах нажал на скрытую внутри одного из библиотечных столов пружину и извлек оттуда длинный ящик, где, по его словам, хранились сокровища, которые он не отваживался доставать в присутствии остальных и о существовании которых монахи даже не догадывались.

– Вот, – продолжал он, – три оды Катулла, которых вы не найдете ни в одном опубликованном издании его произведений. А вот подлинная рукопись Сапфо – полная копия поэмы, которая доступна всему остальному человечеству лишь в виде разрозненных отрывков. А тут два утерянных предания из Милета, письмо Перикла к Аспасии, неизвестный диалог Платона и древний труд неизвестного арабского астронома, который предвосхищает теорию Коперника. И наконец, вот печально знаменитая «История любви» Бернара де Велланкура, весь тираж которой был уничтожен сразу же после выхода в свет; кроме этого, уцелел еще всего один экземпляр.

С благоговейным изумлением разглядывая редкостные, неслыханные сокровища, которые Илларион демонстрировал мне, я заметил в углу ящика тоненькую книжицу в простом

переплете из темной кожи. Осмелившись взять ее в руки, я обнаружил, что она содержит несколько листов убористого рукописного текста на старофранцузском языке.

– А это что такое? – обратился я к Иллариону, чье лицо, к моему крайнему изумлению, неожиданно стало грустным и строгим.

– Лучше бы ты не спрашивал, сын мой. – С этими словами он перекрестился, и в его голосе зазвучали резкие, взволнованные и полные горестного смятения нотки. – Проклятие лежит на страницах, которые ты держишь в руках, пагубные чары витают над ними; и тот, кто отважится их прочесть, подвергнет страшной опасности не только тело, но и душу.

Он решительно забрал у меня книгу и положил ее назад в ящик, после чего вновь тщательно перекрестился.

– Но, отец мой, разве такое возможно? – решился возразить я. – Какую опасность могут представлять несколько покрытых письменами листов пергамента?

– Кристоф, есть многие вещи, постичь которые ты не в состоянии, – вещи, каких тебе лучше не знать. Власть Сатаны может принимать самые разнообразные формы и скрываться за самыми разными образами. Существует множество иных искушений, помимо мирских и плотских соблазнов, множество ловушек, подстерегающих человека столь же коварно и незаметно, сколь и неизбежно; и есть тайные ереси и заклятия иной природы, нежели те, коим предаются колдуны.

– Что же написано на этих страницах, если в них таится такая сверхъестественная опасность, такая пагубная сила?

– Я запрещаю тебе спрашивать об этом.

Монах произнес это таким строгим и категоричным тоном, что я удержался от дальнейших расспросов.

– А для тебя, сын мой, – продолжал он между тем, – опасность возрастает вдвое, ибо ты молод и горяч, полон желаний и любопытства. Поверь мне, лучше тебе забыть, что ты вообще видел эту рукопись.

Настоятель закрыл ящик, и, как только странная рукопись вернулась в тайник, выражение гнетущего беспокойства на лице монаха сменилось прежним добродушием.

– А сейчас, – возвестил Илларион, повернувшись к одной из книжных полок, – я покажу тебе книгу Овидия, некогда принадлежавшую самому Петrarке.

Преподобный Илларион снова превратился в славного ученого, доброго и радушного хозяина, и я понял, что не стоит и пытаться вновь заговаривать о загадочной рукописи. Но странное волнение монаха, расплывчатые и пугающие намеки, которые он обронил, его туманные зловещие предостережения возбудили во мне нездоровое любопытство, и, хотя я отдавал себе отчет в том, что охватившее меня наваждение безрассудно, остаток вечера я не мог думать ни о чем другом. Всевозможные догадки, фантастические, абсурдные, скандальные, нелепые, ужасные, бродили в моем воспаленном мозгу, пока я из вежливости восхищался инкунабулами, которые Илларион любезно доставал с полок и демонстрировал мне.

Около полуночи он проводил меня в мою комнату – комнату, отведенную специально для гостей и обставленную с большими удобствами – даже, можно сказать, с большей роскошью, – чем кельи монахов и самого настоятеля, ибо там имелись и пышные занавеси, и ковры, а на кровати лежала мягкая перина. Когда мой гостеприимный хозяин удалился, а я, к моему огромному удовольствию, убедился в мягкости своей постели, в голове у меня все еще крутились вопросы относительно запретной рукописи. Хотя буря уже улеглась, я долго не мог уснуть, а когда наконец сон пришел ко мне, я крепко уснул и спал без сновидений.

Когда я пробудился, ясные, точно расплавленное золото, потоки солнечного света изливались на меня из окна. Гроза прошла без следа, и на бледно-голубых октябрьских небесах не было ни намека на облачко. Я бросился к окну и увидел осенний лес и поля, блестящие после дождя. Поистине изумительный пейзаж дышал той безмятежностью, которую оценить

по достоинству способен лишь тот, кто, подобно мне, долгое время прожил в городских стенах, в окружении высоких зданий вместо деревьев, и вынужден ходить по булыжной мостовой вместо мягкой травы. Но каким бы чарующим ни казалось представшее моим глазам зрелище, оно удержало мой взгляд лишь на краткий миг, а потом я увидел возвышавшийся над верхушками деревьев холм, до которого от аббатства было не больше мили. На вершине темнели руины старого замка, и в стенах и башнях его явственно царили разруха и запустение. Развалины неодолимо притягивали мой взгляд и обладали неизъяснимой романтической прелестью, которая казалась столь естественной и неотъемлемой частью пейзажа, что я ни на миг даже не задумался и не удивился. Я не мог отвести от него глаз; застыв у окна и позабыв о времени, я пристально изучал каждую черточку полуразрушенных башен и бастионов. В форме, пропорциях и расположении громады замка сквозила какая-то неуловимая притягательность – притягательность, схожая с тем воздействием, какое оказывает на нас нежная мелодия, строфа любимого стихотворения или черты дорогого нам лица. Глядя на остатки этих древних стен, я погрузился в мечты, что впоследствии не сохранились у меня в памяти, но оставили после себя то же самое мучительное и невыразимое наслаждение, какое порой вызывают смутные ночные грезы.

К действительности меня возвратил негромкий стук в дверь, и я спохватился, что до сих пор не одет. Пришел настоятель: узнать, как я провел ночь, и сказать, что мне подадут завтрак, когда бы я ни захотел выйти. Я отчего-то немного смутился, даже устыдился оттого, что меня застали врасплох за грезами наяву, и, хотя в том не было никакой необходимости, извинился перед преподобным Илларионом за свою нерасторопность. Тот, как мне показалось, бросил на меня пронизательный пытливый взгляд и быстро отвел глаза, с радушной любезностью хорошего хозяина ответив, что мне не за что извиняться.

Позавтракав, я с многочисленными выражениями признательности за гостеприимство сообщил Иллариону, что мне пора продолжить свое путешествие. Однако тот столь неподдельно огорчился, услышав про мой скорый отъезд, и так настойчиво уговаривал меня задержаться в аббатстве хотя бы еще на денек, что я согласился остаться. По правде говоря, меня не нужно было долго упрашивать, ибо, помимо того что я испытывал подлинную симпатию к Иллариону, моим воображением всецело завладела тайна запретной рукописи. К тому же для юноши, обладающего тягой к познанию, доступ к богатейшей монастырской библиотеке был редкой роскошью, бесценной возможностью, какую не следовало упускать.

– Раз уж я здесь, то хотел бы воспользоваться вашим несравненным собранием книг, чтобы произвести некоторые изыскания, – обратился я к монаху.

– Сын мой, я буду очень рад, если ты останешься. Мои книги в твоём полном распоряжении, – объявил настоятель, снимая с пояса ключ от библиотеки и протягивая его мне. – Мои обязанности, – продолжал он, – вынуждают меня на несколько часов покинуть стены монастыря, а ты, несомненно, в моё отсутствие захочешь позаниматься.

Вскоре настоятель извинился и ушел. В предвкушении столь желанной возможности, которая безо всякого труда сама упала мне в руки, я поспешил в библиотеку, снедаемый желанием прочесть запретную рукопись. Едва взглянув на заставленные книгами полки, я отыскал стол с потайным ящиком и принялся нащупывать пружину. Несколько томительных минут спустя я наконец нажал на нее и вытащил ящик. Мною руководил порыв, обратившийся в настоящее наваждение, лихорадочное любопытство, которое граничило с помешательством, и даже ради спасения собственной души я не согласился бы подавить желание, заставившее меня вынуть из ящика тонкую книгу в простой, без всяких надписей обложке.

Устроившись в кресле у одного из окон, я приступил к чтению. Страниц в книге оказалось всего шесть; они были покрыты затейливой вязью букв, и никогда прежде мне не доводилось встречать столь причудливого их начертания, а французский язык казался не просто устаревшим, но почти варварским в своей старомодной вычурности. Не обескураженный этими

трудностями, преодолевая безумное, безотчетное волнение, которое охватило меня после первых же прочитанных слов, я как зачарованный продолжал чтение.

Ни заголовка, ни даты в тексте не оказалось, а сам он представлял собой повествование, которое начиналось почти так же внезапно, как и обрывалось. В нем рассказывалось о некоем Жераре, графе де Вантильоне, который накануне женитьбы на знатной и прекрасной девушке, Элеонор де Лис, встретил в лесу рядом со своим замком странное получеловеческое создание с рогами и копытами. Жерар, как гласило повествование, будучи доблестным юношей, чью отвагу, равно как и христианское благочестие, признавали все вокруг, во имя Спасителя нашего, Иисуса Христа, приказал этому существу остановиться и рассказать о себе.

Дико расхохотавшись, странное существо непристойно заплясало перед ним в наступивших сумерках с криком:

– Я – сатир, а твой Христос для меня значит не больше, чем сорняки на мусорной куче.

Потрясенный подобным святотатством, Жерар уже готов был выхватить из ножен свой меч и умертвить омерзительное создание, но оно опять закричало:

– Остановись, Жерар де Вантильон, и я открою тебе секрет, который заставит тебя забыть поклонение Христу и твою красавицу-невесту, а также побудит отречься от мира и от самого солнца – добровольно и без сожалений.

Жерар, хотя и не слишком охотно, наклонился, подставил сатиру ухо, и тот, подойдя поближе, что-то ему прошептал. Что было сказано, так и осталось неизвестным, но, прежде чем исчезнуть в темнеющей лесной чаще, сатир снова громко возвестил:

– Власть Христа черной изморозью сковала все леса, поля, реки, горы, где мирно жили веселые бессмертные богини и нимфы былых дней. Но в укромных пещерах, в далеких подземных убежищах, глубоких, как ад, выдуманный вашими священниками, все еще живет языческая красота, все еще звенят языческие восторги.

С этими словами странное создание вновь разразилось диким нечеловеческим хохотом и скрылось в лесной чаще.

С той минуты Жерара де Вантильона точно подменили. В тоске вернулся он в свой замок, не бросив, против обыкновения, ни слова приветствия слугам, и так же молча сидел в своем кресле или бродил по залам и почти не притронулся к поданной еде. Не пошел он в тот вечер навестить и свою невесту, нарушив данное ей обещание; но, когда приблизилась полночь, с восходом красной, точно омытой кровью, ущербной луны, граф тайком прокрался через заднюю дверь замка и по старой, почти заросшей лесной тропе пробрался на развалины замка Фоссфлам, возвышавшегося на холме напротив Перигонского монастыря.

Развалины эти (говорилось в рукописи) были очень древними, местные жители обходили их стороной, ибо с ними было связано множество легенд о древнем Зле. Поговаривали, будто на холме обитают злые духи, а руины служат местом свиданий колдунов и сукубов. Но Жерар, словно позабыв о дурной славе этих мест или не страшась ее, как одержимый бросился в тень полуразрушенных стен и на ощупь, словно бы прекрасно зная, куда направляется, пробрался к северному краю внутреннего двора замка. Там он правой ногой ступил на плиту, расположенную под двумя центральными окнами, точно между ними, и отличавшуюся от остальных треугольной формой. Под его ногой плита сдвинулась и накренилась, открывая гранитные ступени, что вели в подземелье. Жерар зажег принесенный с собой факел и двинулся по ступеням вниз, а плита за его спиной заняла свое прежнее место.

На следующее утро невеста Жерара, прекрасная Элеонор де Лис, и вся свадебная процессия так и не дождалась графа в соборе Виона, главного города Аверуани, где было назначено их венчание. С того дня никто больше не видал Жерара де Вантильона и ничего не слышал ни о нем самом, ни о судьбе, постигшей его...

Таково было содержание запретной рукописи; на этом она обрывалась. Как я уже упоминал, в тексте не было ни даты, ни имени того, кто был ее автором, ни пояснений, каким образом

до него дошли описанные в ней события. Но как ни странно, я ни на минуту не усомнился в их правдивости, и одолевавшее меня любопытство относительно содержания рукописи немедленно сменилось жгучим желанием, в тысячу раз более властным и неотступным, узнать, чем закончилась эта история, и выяснить, что же нашел Жерар де Вантильон, спустившись по ступеням потайной лестницы.

Когда я читал это повествование, мне, конечно же, пришло в голову, что замок Фоссфлам, описанный в нем, и есть те самые руины, которыми я с утра любовался из окна моей спальни, и чем больше я об этом думал, тем сильнее овладевала мною какая-то безумная лихорадка, тем неистовей становилось сведавшее меня порочное возбуждение. Вернув манускрипт в потайной ящик, я ушел из библиотеки и некоторое время бесцельно бродил по коридорам монастыря. Случайно наткнувшись на того самого монаха, что накануне увел в стойло мою лошадь, я отважился очень осторожно и как бы между делом расспросить его о развалинах, которые виднелись из монастырских окон.

Услышав мой вопрос, монах перекрестился, и на его широком добродушном лице отразился испуг.

– Это развалины замка Фоссфлам, – ответил он. – Говорят, они уже многие годы служат прибежищем злым духам, ведьмам и демонам. Там вся эта нечисть устраивает свои сатанинские шабаши, описывать которые у меня не повернется язык. Ни одно людское оружие, никакие изгоняющие нечистую силу заговоры, ни даже святая вода не властны над этими демонами. Многие отважные рыцари и монахи навеки сгинули во мраке Фоссфлама. Однажды, говорят, сам настоятель Перигона отправился туда, чтобы бросить вызов силам Зла, но какая судьба его постигла, никто не знает и даже не догадывается. Некоторые полагают, что демоны – омерзительные старухи со змеиными хвостами вместо ног; другие утверждают, что женщины, чья красота затмевает красоту всех смертных женщин, а поцелуи даруют дьявольское наслаждение, пожирающее людскую плоть, будто адский огонь... Что до меня, не знаю, какие из этих слухов верны, но я бы отправиться в замок Фоссфлам не отважился.

Еще прежде, чем он договорил, в моей душе созрело решение отправиться туда самостоятельно и выяснить все, что возможно, если это будет в моих силах. Желание оказалось таким неодолимым, властным и сокрушительным, что, даже будь я исполнен решимости до последнего сопротивляться ему, я проиграл бы эту битву, точно околдованный могущественными чарами. Предостережение преподобного Иллариона, таинственная неоконченная история из древней рукописи, дурная слава, на которую намекал монах, – все это, казалось бы, должно было испугать меня и отвратить от подобного решения, но на меня точно затмение нашло. Мне чудилось, что за всем этим скрывается какая-то восхитительная тайна, запретный мир неописуемых чудес и неизведанных наслаждений. Мысли о них воспламенили мое воображение и заставили сердце лихорадочно колотиться. Я не знал, не мог даже предположить, что это могут быть за наслаждения, но отчего-то был так же твердо убежден в совершенной их реальности, как настоятель Илларион верил в существование рая.

Я решил отправиться на развалины в тот же день, пока не вернулся Илларион: я был безотчетно уверен, что он с подозрением отнесся бы к подобному намерению и непременно бы ему воспротивился.

Мои приготовления были крайне просты и заняли всего несколько минут. Я положил в карман огарок свечи, позаимствованный из спальни, захватил в трапезной краюшку хлеба и, убедившись, что мой верный кинжал в ножнах, незамедлительно покинул гостеприимный монастырь. Встретив во дворе двоих братьев, я сообщил им, что намерен прогуляться по лесу. Они напутствовали меня веселым «*рах vobiscum*»¹ и в полном соответствии со своими словами двинулись дальше своей дорогой.

¹ Здесь: иди с миром (лат.).

Стараясь не терять из виду Фоссфлам, башни которого то и дело скрывались за спутанными ветвями деревьев, я углубился в лес. Я шел без дороги, и мне то и дело приходилось отклоняться в сторону от намеченного пути, чтобы обойти густой подлесок. В лихорадочной спешке, охватившей меня, казалось, на то, чтобы добраться до вершины холма, где возвышались развалины, у меня ушло несколько часов, хотя на самом деле путь едва ли занял более получаса. Преодолев последний взгорок, я внезапно увидел перед собой замок, возвышавшийся в центре ровной площадки, которую представляла собой вершина. В разрушенных стенах пустились корни деревья, а обвалившиеся ворота заросли кустарником, ежевикой и крапивой. Не без труда пробившись сквозь кусты и изорвав о колючки одежду, я, как и Жерар де Вантильон в старинной рукописи, двинулся к северной оконечности двора. Между плитами мостовой разрослись пугающе огромные стебли бурьяна, чьи мясистые листья уже тронуты были бурыми и лиловыми красками наступившей осени. Но вскоре я отыскал треугольную плиту, описанную в повествовании, и без малейшего промедления и колебания ступил на нее правой ногой.

Неукротимая дрожь, восторг безрассудного ликования, к которым примешивалось нечто сродни смятению, пробежали по моему телу, когда огромная плита легко сдвинулась под моей ногой, открывая темные гранитные ступени, – в точности так, как говорилось в древнем манускрипте. Теперь-то смутные страхи, навеянные туманными намеками монахов, на краткий миг ожили в моем воображении, превратившись в неумолимую реальность, и я остановился, глядя в зияющее отверстие, готовое меня поглотить, и размышляя, не дьявольские ли чары привели меня сюда, в это царство неведомого ужаса и немыслимой опасности.

Колебался я, однако, совсем недолго. Затем чувство опасности отступило, ужасы, описанные монахами, стали казаться причудливым сном, и очарование невыразимого нечто, которое было все ближе и ближе, все более и более достижимо, охватило меня, точно крепкое объятие любящих рук. Я зажег свечу и двинулся по лестнице вниз, и точно так же, как за Жераром Вантильоном, треугольная каменная глыба бесшумно закрылась за мной и заняла свое место в вымощенном полу. Несомненно, затворил ее какой-то замысловатый механизм, приводимый в движение воздействием человеческого веса на одну из ступеней, но я не остановился, чтобы выяснить, каким образом он работает, и не попытался найти способ открыть плиту изнутри, чтобы вернуться.

Я преодолел, наверное, с дюжину ступеней, которые привели меня в низкий, тесный, пахнущий плесенью склеп, где не оказалось ничего, кроме древней, покрытой пылью паутины. Дойдя до конца, я обнаружил маленькую дверцу, за которой оказался второй склеп, отличавшийся от первого лишь тем, что был более просторным и более пыльным. Миновав еще несколько таких же склепов, я очутился в длинном то ли коридоре, то ли туннеле, местами перегороженном каменными глыбами и грудями булыжников, обрушившихся со стен. Здесь было очень сыро, в нос бил омерзительный запах застоявшейся воды и подземной плесени. Несколько раз под моими ногами хлопала вода, когда я вступал в лужицы, а тяжелые капли, слизкие и зловонные, падали сверху, будто просачиваясь из могилы.

Мне казалось, что за пределами круга зыбкого света, который отбрасывала моя свеча, во тьме расползаются в разные стороны зловещие призрачные змеи, потревоженные моим приближением, но я не знал, были то действительно змеи или это просто беспокойные колышущиеся тени чудились глазам, не успевшим еще привыкнуть ко мгле подземелья.

Завернув за внезапно открывшийся передо мной поворот, я увидел то, чего менее всего ожидал, – проблеск солнечного света там, где, очевидно, был конец коридора. Не могу сказать, что именно я рассчитывал найти, но такой результат почему-то совершенно меня обескуражил. В некотором замешательстве я поспешил вперед и, вынырнув наружу, потрясенно заморгал, ослепленный ярким солнечным светом.

Еще прежде чем окончательно опомниться и протереть глаза, чтобы осмотреться по сторонам, я был потрясен одним странным обстоятельством. Несмотря на то что вошел я в подземелье вскоре после полудня, а все мои блуждания по склепам не могли занять больше нескольких минут, солнце уже садилось. Да и сам солнечный свет казался другим – ярче и мягче того, который я видел над Аверуанью, а небо – синим-синим, без намека на осеннюю блеклость.

Я с нарастающим изумлением огляделся и обнаружил, что в пейзаже, раскинувшемся предо мною, нет ничего не только знакомого, но и просто правдоподобного. Вопреки всякой логике, нигде поблизости не было видно ничего похожего ни на холм, на котором возвышался замок Фоссфлам, ни на его окрестности. Вокруг меня расстилалась дышавшая покоем травянистая равнина, по которой извилистая река стремилась свои золотистые воды к темно-лазурному морю, блестящему за верхушками лавровых деревьев... Но в Аверуани никогда не росли лавры, да и море находилось в сотнях миль, так что можно представить, как ошеломило и потрясло меня это зрелище.

Никогда еще не доводилось мне видеть зрелища прекраснее. Трава, в которой утопали мои ноги, была мягче и ярче изумрудного бархата, и в ней там и сям проглядывали фиалки и асфодели. Темно-зеленые кроны деревьев, как в зеркале, отражались в золотистой реке, а на невысоком холме вдаль смутно поблескивал мраморный акрополь, возвышавшийся над равниной. Все было напоено мягким дыханием весны, вот-вот готовый смениться теплым и радостным летом. Казалось, я очутился в стране классических мифов и греческих легенд, и мало-помалу мои изумление и замешательство отступили перед затопившими меня восторгом и восхищением совершенной, непередаваемой красотой этой земли.

Неподалеку, в роще лавровых деревьев, поблескивала в последних лучах закатного солнца белая крыша. Меня немедленно позвала туда все та же, только куда более властная и неодолимая сила притяжения, которую я впервые ощутил, взглянув на запретный манускрипт и на развалины замка Фоссфлам. Именно здесь, со сверхъестественной уверенностью понял я, находится цель моих поисков, награда за мое безумное и, возможно, нечестивое любопытство.

Вступив в рощу, я услышал зазвеневший между деревьями смех, гармонично переплетавшийся с тихим шепотом листьев в мягком, благоуханном ветерке. Мне показалось, мое приближение спугнуло какие-то смутные фигуры, которые скрылись среди стволов, а один раз косматое, похожее на козла создание с человеческой головой перебежало мне дорогу, будто преследуя быстроногую нимфу.

В самом центре рощицы я обнаружил мраморный дворец с портиком и дорическими колоннами. Когда я приблизился к нему, меня приветствовали две девушки в одеждах древних рабынь, и, хотя мой греческий совсем плох, я без труда разобрал их речь, чему немало способствовало их безукоризненное аттическое произношение.

– Наша госпожа, Никея, ожидает тебя, – хором объявили мне незнакомки.

Ничему уже не удивляясь, я воспринимал все происходящее без вопросов и бесплодных гаданий, как человек, полностью погружившийся в какое-то упоительное сновидение. «Возможно, – думал я, – все это мне лишь снится, а на самом деле я лежу в роскошной постели в монастыре». Но никогда прежде ночные видения, посещавшие меня, не были такими отчетливыми и восхитительно прекрасными. Дворец был обставлен с роскошью, граничившей с варварской, – несомненно, периода заката греческой культуры, ибо в обстановке отчетливо угадывались восточные веяния. Меня провели по коридору, блиставшему ониксом и полированным порфиром, в богато убранную комнату, где на устеленном великолепными тканями ложе возлежала ослепительно прекрасная женщина, подобная богине.

При виде ее я затрепетал от охватившего меня странного волнения. Мне доводилось слышать о людях, внезапно пораженных безумной любовью с первого взгляда на чье-то лицо или фигуру, но никогда прежде я не испытывал столь сильной страсти, столь всепоглощающего чувства, каким внезапно проникся к этой женщине. Поистине казалось, что я любил ее уже

очень давно, сам не подозревая, что люблю именно ее, не в состоянии определить природу этого чувства или направить его в какое-то русло.

Невысокого роста, она обладала совершенной фигурой, исполненной какой-то невыразимой чувственности. Ее темно-сапфировые глаза казались бездонными, точно летний океан, и я будто погружался в их жаркую глубину. Изгиб ее соблазнительных губ таил в себе какую-то загадку, они были печальны и нежны, точно уста античной Венеры. Волосы, скорее русые, чем белокурые, ниспадали на шею, уши и лоб прелестными локонами, перехваченными простой серебристой лентой. Во всем ее облике сквозила какая-то смесь гордости и сладострастия, царственного высокомерия и женственной уступчивости, а двигалась она легко и грациозно, как змея.

– Я знала, что ты придешь, – прошептала она на том же мелодичном греческом языке, на каком говорили ее служанки. – Я ждала тебя целую вечность, но, когда ты нашел убежище от грозы в Перигонском аббатстве и увидел в потайном ящике рукопись, я поняла, что час твоего прибытия близится. Чары, что так неодолимо и с такой необъяснимой силой влекли тебя сюда, были чарами моей красоты, волшебным зовом моей любви, а ты об этом даже не подозревал!

– Кто ты? – спросил я.

Греческие слова без малейших усилий полились из моих уст, что безмерно удивило бы меня еще час назад. Но теперь я мог принять что угодно, каким бы странным и абсурдным оно ни казалось, как часть удивительной удачи, невероятного приключения, выпавшего на мою долю.

– Я – Никея, – ответила красавица на мой вопрос. – Я люблю тебя. Мой дворец, как и мои объятия, в твоём полном распоряжении. Ужели тебе потребно знать что-нибудь еще?

Рабыни куда-то исчезли. Я бросился к ложу богини и принялся покрывать поцелуями ее протянутую руку, принося ей клятвы, вне всякого сомнения звучавшие бессвязно, но исполненные такой пылкости, что красавица нежно улыбнулась.

Ее рука показалась мне прохладной, но прикосновение к ней воспламенило мою страсть. Я осмелился присесть на ложе рядом с Никеей, и богиня не возразила против такой дерзости. Нежные пурпурные сумерки начали сгущаться в углах комнаты, а мы все беседовали и беседовали, полные радости, без усталости повторяя все те милые, нелепые и ласковые глупости, которые инстинктивно срываются с уст влюбленных. Никея была так невероятно податлива в моих объятиях, что казалось, в ее прелестном теле нет ни единой косточки.

В комнате бесшумно появились служанки. Они зажгли замысловато украшенные золотые светильники и поставили перед нами ужин, состоявший из пряных яств, невиданных ароматных фруктов и крепких вин. Но я едва мог заставить себя проглотить что-нибудь и, даже пригубив вина, жаждал напитка еще более сладкого и хмельного – поцелуев Никеи.

Не помню, когда мы наконец заснули, но вечер пролетел как один миг. Пьяный от счастья, я унесся прочь на нежных крыльях сна, и золотые лампы и лицо Никеи растаяли в блаженной дымке и пропали из виду...

Внезапно что-то вырвало меня из глубин забытья, и я проснулся. Спросонья я не сразу сообразил, где нахожусь, и еще меньше понимал, что же меня разбудило. Затем до меня донеслись тяжелые шаги, приближающиеся к открытой двери, и, выглянув из-за головы спящей Никеи, я в свете ламп увидел на пороге преподобного Иллариона. На лице его застыло выражение ужаса, и, перехватив мой взгляд, он что-то быстро-быстро залопотал на латыни. В голосе его страх мешался с отвращением и ненавистью. В руках у него я увидел пузатую бутылку и кропило. Я не сомневался, что в бутылке святая вода, и уж конечно догадался, для чего она предназначалась.

Никея между тем тоже проснулась, и я понял, что она заметила аббата. Красавица подарила мне странную улыбку, в которой я различил нежную жалость, смешанную с ободрением, как будто она утешала испуганное дитя.

– Не беспокойся за меня, – прошептала она.

– Гнусная вампирша! Проклятая ламия! Змея дьявола! – пророкотал Илларион внезапно и, вздев бутыл, переступил порог комнаты.

В тот же миг Никея соскользнула с нашего ложа и с невероятным проворством скрылась за дальней дверью, выходящей в лавровую рощу. В ушах у меня, словно из немыслимой дали, прозвенел ее нежный голос:

– Прощай, Кристоф! Не бойся, ты найдешь меня, если будешь отважен и терпелив.

Как только ее слова замерли вдали, капли святой воды с кропила упали на пол и на ложе, где еще миг назад спала рядом со мной Никея. Раздался оглушительный грохот, и золотистые лампы растворились во тьме, которая наполнилась тучами пыли и градом обломков. Я лишился чувств, а когда очнулся, оказалось, что я лежу на куче булыжника в одном из склепов, по которым проходил днем. Преподобный Илларион склонился надо мной со свечой в руке. На лице его застыло выражение сильнейшего беспокойства и безграничной жалости. Рядом с ним стояла бутыл и валялось мокрое кропило.

– Благодарение Господу, сын мой, я нашел тебя вовремя, – промолвил он. – Когда вечером я вернулся в монастырь и узнал, что ты ушел, я догадался, что произошло. Я догадался, что в мое отсутствие ты прочитал проклятую рукопись и подпал под ее губительные чары, подобно множеству других неосторожных, в числе которых был и один почтенный аббат, мой предшественник. Все они, увы, начиная с Жерара де Вантильона, жившего много сотен лет назад, пали жертвами ламии, которая обитает в этих склепах.

– Ламии? – переспросил я, едва осознавая, что он говорит.

– Да, сын мой, прекрасная Никея, которую ты сжимал в объятиях этой ночью, – ламия, древняя вампирша, создавшая в этих смрадных склепах свой дворец, обиталище блаженных иллюзий. Неизвестно, как ей удалось обосноваться в Фоссфламе, ибо ее появление здесь уходит корнями в древность более глубокую, нежели человеческая память. Она стара, как само язычество, о ней знали еще древние греки, ее пытался изгнать еще Аполлоний Тианский, и если бы ты мог узреть ее подлинный облик, то вместо обольстительного тела увидел бы кольца чудовищно омерзительной змеи. Всех, кого любила и с таким радушием принимала в своем дворце, эта красавица потом сжирала, высосав из них жизнь и силы своими дарующими дьявольское наслаждение поцелуями. Заросшая лаврами равнина, которую ты видел, золотистая река, мраморный дворец со всей его роскошью – все это не более чем нечестивое наваждение, красивый обман, созданный из пыли и праха незапамятных времен, из древнего тлена. Он развеялся под каплями святой воды, которую я захватил с собой, когда пустился в погоню. Но Никея, увы, ускользнула от меня, и боюсь, что она уцелела, дабы опять возвести свой сатанинский дворец и снова и снова предаваться в нем своим омерзительным порокам.

Все еще в каком-то ступоре, вызванном крушением моего только что обретенного счастья и чудовищными откровениями Иллариона, я покорно побрел за ним по склепам Фоссфлама. Монах взошел по ступеням, которые привели меня сюда, и, когда мы добрались до последней, нам пришлось слегка пригнуться; массивная плита повернулась вверх, пропустив внутрь поток холодного лунного света. Мы выбрались наружу, и я позволил Иллариону увести меня назад в монастырь.

Когда мой разум начал проясняться и смятение, охватившее меня, улеглось, на смену ему быстро пришло возмущение – яростный гнев на помешавшего нам Иллариона. Не задумываясь, спас он меня от ужасной физической и духовной опасности или нет, я оплакивал прекрасную грезу, из которой он так грубо меня вырвал. Поцелуи Никеи все еще пламенели на моих губах. Кто бы она ни была – женщина ли, демон или змея, – никто другой в мире не смог бы внушить мне такую любовь и подарить такое наслаждение. Однако у меня достало ума скрыть свое состояние от Иллариона: я понимал, что, если выдам свои чувства, он всего лишь сочтет меня безнадежно заблудшей душой...

Наутро, сославшись на необходимость как можно скорее вернуться домой, я покинул Перигон. Сейчас, в библиотеке отцовского дома под Муленом, я пишу это повествование о своих приключениях. Воспоминания о прекрасной Никее остаются такими же поразительно ясными, столь же неизъяснимо сладостными для меня, как если бы она все еще была рядом, и я будто наяву вижу пышные занавеси полночной спальни, освещенной причудливо изукрашенными золотыми лампами, и в ушах у меня звучат ее прощальные слова:

«Не бойся, ты найдешь меня, если будешь отважен и терпелив».

Вскоре я вернусь на развалины замка Фоссфлам, чтобы вновь спуститься в подземелье, скрытое треугольной плитой. Но хотя от Фоссфлама рукой подать до Перигона, несмотря на все мое уважение к почтенному настоятелю, несмотря на всю мою признательность за его радушие и все мое восхищение его несравненной библиотекой, я даже не подумаю навестить моего доброго друга Иллариона.

Огненные призраки

Лето близилось к концу, и дорога на Джорджтаун была покрыта густой пылью, осевшей бурым покровом на растущие по обочинам сосны и заросли чапаралья. Шагавший по дороге человек проделал весь путь от Оберна пешком под лучами палящего послеполюденного солнца, и никто даже не удосужился предложить его подвезти, так что пыли на нем вряд ли было меньше, чем на деревьях вокруг. Он то и дело останавливался, утирая лицо потерявшим всякий цвет носовым платком или с тоской глядя вслед проносившимся мимо автомобилям. Одежда его, хотя и не рваная, была старой, поношенной и неопишимо бесформенной, как будто в ней спали. Своей худой сгорбленной фигурой, в которой чувствовалась некая обреченность, человек напоминал профессионального бродягу, к каковым местный народ относился весьма подозрительно.

«Кажись, придется всю дорогу пешком топтать, – жалобно пробормотал он себе под нос. – Впрочем, уже недалеко... Господи, ну и жарница! – Он оценивающе окинул взглядом знакомый пейзаж из выгоревшей травы, молодого подлеска и желтых сосен. – Еще удивительно, что новых пожаров не стряслось, – в это время года они тут постоянно».

Человека звали Джонас Макгилликади, и он возвращался домой после несколько затянувшегося отсутствия. О его возвращении никто не знал, и для жены и троих детей оно должно было стать такой же неожиданностью, как и его уход. Устав от попыток добыть средства к существованию из маленького виноградника и грушевого сада на каменистой земле Эль-Дорадо и от постоянного ворчания хрупкой, нервной и горько разочарованной жены, Джонас внезапно покинул дом три года назад после необычайно крупной и жестокой ссоры с супругой. С тех пор он ничего не слышал о родных – по той простой причине, что даже не пробовал с ними связаться. Его разнообразные попытки заработать на жизнь оказались не более успешными, чем выращивание фруктов, и он бесцельно и безрезультатно блуждал из деревни в деревню, от работы к работе, несчастный и одинокий, все больше впадая в отчаяние. Учитывая его переменчивый темперамент, мысль о возвращении стала вполне естественной после того, как он понял, что устал от безнадежной борьбы и все его усилия тщетны. Время смягчило воспоминания о невыносимом характере жены и ее сварливом нраве, но он не забыл ни ее ласки, когда она пребывала в более сговорчивом настроении, ни ее превосходную стряпню.

Без гроша в кармане, потратив последние деньги на билет на поезд до Сакраменто, Джонас приближался к холмам в окрестностях Джорджтауна, за которыми среди лесов располагалась его ферма. Народу в округе жило немного, землю на покатых холмах и в низких долинах почти не возделывали, не считая отдельно стоящих ферм. Вдали в голубой дымке виднелись призрачные очертания заснеженных гор Сьерра-Невада.

«Господи, как же хочется грушевого пирога Матильды! – подумал путник, и рот его наполнился слюной. Ему, впрочем, не хватало фантазии вообразить, какой прием его ждет, – он разве что нервно предвидел нагоняй, который получит от Матильды за долгое отсутствие. – Но может, она все ж будет мне рада, – попытался он утешить сам себя, а потом попробовал представить себе своих детей – пятилетнего мальчика и двух девочек, которым, когда он видел их в последний раз, было три и два года. – Вдруг они вообще забыли, что у них был папаша?»

День был совершенно безветренный, душный и знойный. Внезапно с северо-востока, вдоль дороги, по которой шел Джонас, пронесся порыв ветра, а вместе с ним – безошибочно узнаваемый едкий запах горелой травы и деревьев.

– Черт, все-таки был пожар, – вздрогнув, пробормотал Джонас и с тревогой взгляделся вперед, но не увидел дыма над бурыми и серо-зелеными холмами. – Небось уже миновал.

Поднявшись на вершину пологого холма, он увидел, что по обеим сторонам дороги все выгорело и конца пожарищу не видать. Повсюду коричневая листва обгоревших дубов и чер-

ные скелеты кустов и сосен. Несколько упавших стволов и старых пней все еще слегка дымились, как обычно бывает еще многие дни после лесного пожара. Перед Джонасом простиралась картина полного и безнадежного опустошения.

Он прибавил шаг в нарастающей панике, поскольку от родных мест его теперь отделяло не более мили. Он вспомнил высокие сосны, что росли совсем рядом с домом, – сосны, которые он хотел срубить, но поддался на уговоры любимшей природу Матильды.

«Они такие красивые, Джонас, – умоляюще говорила она. – Не могу даже представить, что их не станет».

«Надеюсь, пожар не добрался до тех сосен, – подумал Джонас. – Господи, надо было все-таки их срубить, как и собирался. Было бы куда безопаснее, да и денег бы за древесину заработал».

Дорога местами была усыпана опавшей листвой и обуглившимися ветками. Поперек нее обрушилось несколько деревьев, которые уже убрали, чтобы не мешали движению. Ветер стих так же внезапно, как и начался, и в почерневшей пустыне стало еще жарче. В пыли на щеках Джонаса пролегли струйки пота, но он не останавливался, чтобы утереть лицо. Человек он был безответственный, но сейчас этого бродягу придавило странным гнетом, и он шагнул вперед, подгоняемый предчувствием неминуемой беды.

Наконец он дошел до проселочной дороги, что сворачивала к его ферме с шоссе на Джорджтаун. Сердце его ушло в пятки, ибо тут тоже побывал пожар, не оставив после себя ничего, кроме разрушений. Несмотря на усталость, Джонас почти перешел на бег и, одолев поворот, увидел, что пожар остановился у самого края его владений. Низкорослые грушевые деревья в саду и беспорядочно разбросанные лозы испанского и мускатного винограда выглядели точно так же, как он помнил, а дальше, в роще желтых сосен, поднимались к небу клубы дыма из трубы его дома. Тяжело дыша, он остановился, благодаря судьбу со всей искренностью, на какую только была способна его отупевшая душа.

Когда он поднялся через сад по извилистой дорожке и вошел в рощу, солнце уже почти коснулось горизонта, и среди удлинившихся теней мерцали полосы света, отчетливо тронутые золотом. Даже усталого и безразличного Джонаса по-своему очаровали красота лесного пейзажа, магия заката, высоченные, торжественные темно-зеленые сосны и отблески солнечных лучей на кустах манзаниты и подстилке из коричневых игл. Глубоко вдохнув аромат леса, истекающего бальзамами под жарким солнцем, он ощутил смутную радость.

Он увидел свой дом – длинное четырехкомнатное строение из простых некрашенных досок под потемневшей от непогоды кровлей. На крыльце стояла женщина в ситцевом платье, а рядом с ней две девочки. Джонаса обеспокоило отсутствие мальчика, который всегда был хрупким, болезненным и капризным. «Видать, Билли опять болен», – подумал он. Его радовало, что он наконец дома, но мучили сомнения насчет того, как его встретит Матильда.

Женщина подняла взгляд, прикрыв глаза рукой от горизонтально пронизывающих лес последних лучей солнца. На ней был чистый, как всегда, передник, хотя поношенный и выцветший после многих стирок, как и ее платье. Похоже, она не замечала мужа, но напряженно смотрела на что-то между деревьями. Дети устали туда же, крепче прижимаясь к матери и цепляясь за ее подол.

– Привет, Матильда! – попытался крикнуть Джонас, но в горле так пересохло от пыли, что вырвался лишь хриплый шепот.

Джонас попытался откашляться, но в то же мгновение вся эта картина – деревья, дом, женщина и дети – исчезла в ревущей пелене красного пламени, которое, казалось, налетело сразу со всех сторон, в какую-то долю секунды затмив весь мир и само небо. В лицо Джонасу ударила волна невыносимого жара, подобного дыханию тысячи раскаленных печей, и его

отшвырнуло назад, словно ураганным ветром. В ушах раздался могучий рев, сквозь него донеслись человеческие крики, и Джонас провалился в черную бездну.

Когда он пришел в себя, был день, но бродяга не сразу понял, что свет падает сквозь верхушки деревьев с другой стороны и намного ярче, нежели обычно бывает в вечнозеленом лесу. Наконец осознав, что наступило утро, Джонас начал замечать и другие, не менее необычные детали. Он обнаружил, что лежит на спине среди сгоревших игл, а над ним возвышались темные стволы опаленных пожаром деревьев с жалкими обрубками обгоревших веток. Словно в тумане, отупело и ошалело, он вспомнил события прошлого дня: его возвращение на закате, Матильду и двух детей, всепоглощающую огненную пелену. Он бросил взгляд на свою одежду, полагая, что серьезно обгорел, но не увидел ни единого следа от огня, а черный пепел вокруг давно остыл. Приподнявшись на локте, Джонас огляделся, но не обнаружил ни малейшего облачка дыма, которое могло бы свидетельствовать о недавнем разрушительном пожаре.

Поднявшись, он направился туда, где раньше был его дом. Перед ним высилась груда головешек, из которой торчали концы обугленных балок.

– Господи! – ошеломленно пробормотал Джонас, безуспешно пытаясь привести в порядок путающиеся мысли.

Вдруг из-за развалин поднялся худощавый мужчина в грязном комбинезоне, украдкой выронив из рук какой-то предмет. Увидев Джонаса, этот человек поспешил ему навстречу. Профилем и всем своим видом он напоминал старого облезлого стервятника, и Джонас узнал Сэмюэла Слокама, своего соседа.

– Ха, Джонас Макгилликади, так ты вернулся! – с неподдельным удивлением хрипло воскликнул тот. – Хотя ты слегка опоздал, – продолжал он, не дав Джонасу вставить ни слова. – Тут позавчера все дотла сгорело.

– Но дом стоял тут еще вчера вечером, – заикаясь, выговорил Джонас. – Я вышел из леса перед самым закатом и видел на крыльце Матильду и детей, вот прямо как тебя. Потом все вдруг вспыхнуло, и я ничего больше не помню, только сейчас очнулся.

– Да ты бредишь, Джонас, – сказал сосед. – Никакого дома тут вчера вечером быть не могло, да и Мэтти с детьми тоже. Тут все сгорело с ними вместе. Мы слышали, как кричали твоя жена и дети, но даже ахнуть не успели, как пламя охватило все вокруг, и деревья упали на дорогу, так что никто не мог ни туда добраться, ни оттуда выбраться... Я тебе всегда говорил, Джонас, – сруби эти сосны.

– Все сгорели? – с трудом выдавил Джонас.

– Ну, малец твой еще год назад помер, так что только Мэтти и две малышки.

Ночь в Мальнеане

Мальнеан я навестил в столь же сумеречный и сомнительный отрезок моей жизни, как и сам этот город вместе с его туманными окраинами. Память моя не сохранила сведений о его местонахождении; не могу я и в точности вспомнить, когда и как я там оказался. Но до меня доходили смутные слухи о чем-то подобном на моем пути, так что, очутившись на берегу окутанной туманом реки, что течет вдоль стен города, и услышав погребальный звон колоколов, я понял, что приближаюсь к Мальнеану. Достигнув громадного серого моста через реку, я мог продолжать свой путь по другим дорогам, ведущим к городам более отдаленным; но мне показалось, что с тем же успехом я могу войти и в Мальнеан. И потому я ступил на мост из тенистых арок, под которыми текли черные воды, неслышно разделяясь и соединяясь вновь, подобно Стиксу и Ахерону.

Как я уже говорил, тот отрезок моей жизни был сумеречным и сомнительным, – возможно, отчасти оттого, что я настойчиво искал забвения и иногда мои поиски вознаграждались. Более же всего я желал забыть о смерти леди Мариэль и о том, что я сам ее убил – так, будто совершил сие деяние собственными руками. Ибо ее любовь ко мне была намного глубже, чище и крепче, нежели моя; мой же переменчивый нрав, приступы жестокого безразличия или яростной досады разбили ее нежное сердце. В качестве утешения она выбрала смертельный яд и упокоилась в мрачных склепах предков; я же стал бродягой, вечно преследуемым запоздалыми угрызениями совести. Многие месяцы, а может, и годы я блуждал от одного древнего города к другому, не разбирая дороги, – лишь бы там хватало вина и иных способов забыться... Вот так на некоем повороте своего бесконечного путешествия я и оказался в туманных окрестностях Мальнеана.

Солнце – если над этими краями вообще светило солнце – затерялось в свинцовых тучах, лишь добавляя этому дню уныния и тоски. Но по тому, как сгущались тени и туман, я понял, что близится вечер, а колокольный звон, пускай тяжелый и похоронный, давал надежду на ночной кров. Оставив позади длинный мост, я вступил в мрачно зияющие ворота, ускоряя шаг, хотя и не особо спеша радоваться.

За серыми стенами уже опустились сумерки, но мало где в городе светились огни. Столь же мало было и людей, а те, кого я видел, спешили куда-то, угрюмые и торжественные, будто стремясь по не терпящим отлагательства похоронным делам. Вдоль узких улиц тянулись высокие здания – их балконы нависали над головой, их окна были занавешены тяжелыми шторами или закрыты ставнями. Тишину нарушал лишь непрерывный звон колоколов, иногда негромкий и отдаленный, а иногда вдруг раздававшийся прямо над головой.

Я углублялся в окутанные сумеречным светом улицы, блуждая среди погруженных в тень особняков, и мне казалось, будто я с каждым шагом все больше удаляюсь от собственных воспоминаний. Именно поэтому я не стал сразу же спрашивать дорогу до таверны, но предпочел затеряться в сером лабиринте зданий, которые погружались в сгущающуюся темноту и туман, словно растворяясь в забвении.

Пожалуй, душа моя пребывала бы почти в полном умиротворении, если бы не перезвон колоколов, который то и дело вызывал мысли о погребальном обряде и о тех колоколах, что звонили по Мариэль. Но едва он прекращался, мысли мои вновь обретали праздную легкость, и я более не чувствовал угрозы в окружавшем меня тумане, шагая дальше по многочисленным темным переулкам, мимо многочисленных, будто покрытых саваном таинственных особняков, внутри которых, как мне почему-то казалось, не было ничего, кроме паутины, тишины и дремоты, – но затем снова раздавался ненавистный звон колоколов. Мне чудилось, будто звон становится тише, ослабевая с каждым повторением, и я надеялся, что вскоре вообще перестану его слышать и он уйдет в забвение вместе с моими тревожными воспоминаниями.

Я понятия не имел, как далеко углубился в Мальнеан и как долго бродил среди домов, все обитатели которых, казалось, спали или умерли. Но все же наконец я почувствовал, что очень устал и пора задуматься о еде, вине и ночлеге. Однако нигде по пути мне не попала вывеска постоянного двора, и я решил спросить дорогу у следующего прохожего.

Как я уже говорил, людей на улицах было мало – насколько мало, я, похоже, даже не осознавал. Теперь же, когда я собрался обратиться к кому-нибудь, они как будто вообще исчезли; я шел все дальше и дальше, но мне не встретилось ни единой живой души.

Наконец я увидел двух женщин в серых одеждах, холодных и тусклых, как пелена тумана. Лица их были закрыты вуалями, и они куда-то спешили с той же целеустремленностью, которую я замечал у всех прочих обитателей города. Я осмелился подойти к ним и спросить, не могут ли они показать мне дорогу до постоянного двора.

– Мы заняты, – ответили они, даже не остановившись и не повернув головы. – Мы ткачихи саванов, и нам нужно соткать саван для леди Мариэль.

При звуках имени, которое из всех имен на свете я меньше всего ожидал и желал услышать, меня охватило страшное смятение, и изумленное сердце мое объял невообразимый холод, подобный дыханию могилы. Воистину, как могло случиться, что в этом туманном городе, столь далеком во времени и пространстве от всего, с чем я стремился порвать, недавно умерла женщина, которую тоже звали Мариэль? Совпадение выглядело столь зловещим, что в душу мою внезапно проник странный ужас перед улицами, по которым я блуждал. Имя с еще большей неизбежностью, нежели колокольный звон, вызвало в памяти все то, о чем я тщился забыть, и погасшие были воспоминания обожгли мою душу, словно раскаленные угли.

Я продолжил свой путь, лихорадочно ускорив шаг, подобно местным горожанам. Встретив двоих мужчин, тоже с головы до пят одетых в серое, я задал им тот же вопрос, что и ткачихам саванов.

– Мы заняты, – ответили они. – Мы гробовщики, и нам нужно сделать гроб для леди Мариэль.

С этими словами они поспешили дальше, и в тот же миг вновь раздался колокольный звон, на сей раз совсем рядом, еще мрачнее и грознее, чем прежде. И все, что меня окружало, – высокие туманные дома, темные неясные улицы, редкие призрачные человеческие фигуры – вдруг наполнилось невнятным смятением, и страхом, и растерянностью, будто я наяву угодил в ночной кошмар. Совпадение, с которым я столкнулся, с каждым мгновением казалось все страннее, и у меня промелькнула чудовищная и абсурдная мысль, что этот фантастический город каким-то непостижимым образом связан со смертью той самой Мариэль, которую я знал. Естественно, разум мой отвергал подобное, и я продолжал убеждать себя: «Мариэль, о которой они говорят, – вовсе не та Мариэль». И мне крайне досаждало, что столь невероятная и нелепая мысль раз за разом возвращается вопреки всяческой логике.

Больше мне не встретилось людей, у которых можно было бы спросить дорогу. Но, борясь с охватившим меня темным недоумением и обжигающими воспоминаниями, я вдруг заметил, что стою под выцветшей от непогоды вывеской постоянного двора; буквы на ней наполовину стерлись от времени и поросли коричневым мхом. Само здание выглядело столь же старым, как и все дома в Мальнеане; верхние его этажи скрывались в клубящемся тумане, и лишь несколько огоньков украдкой мерцали в вышине, а когда я поднялся по ступеням и попытался открыть тяжелую дверь, в нос мне ударил заплесневелый запах древности. Но дверь оказалась заперта на замок или на засов, и я заколотил по ней кулаками, стремясь привлечь внимание находившихся внутри.

После долгого ожидания дверь наконец медленно и неохотно отворилась, из-за нее выглянул похожий на мертвеца человек и со зловещей серьезностью уставился на меня.

– Чего тебе надо? – мрачно бросил он.

– Комнату на ночь и вина, – ответил я.

– У нас не найдется для тебя кровя. Все комнаты заняты прибывшими на похороны леди Мариэль, и они потребовали себе все вино в доме. Поищи другое место для ночлега. – И он быстро захлопнул передо мною дверь.

Мне ничего не оставалось, как продолжить свои блуждания по городу, и терзания мои усилились стократ. Серый туман и еще более серые дома навевали страх, подобно предательским могилам, из которых лезли трупы умерших времен, ошестинившиеся ядовитыми клыками и когтями. Я проклял тот час, когда вошел в Мальнеан, ибо теперь мне казалось, что таким манером я попросту завершил зловеший погребальный круг во времени, вернувшись в день смерти Мариэль, и жуткая реальность происходящего стала итогом моих воспоминаний о ней, ее агонии и похоронах. Но разум мой, естественно, продолжал настаивать на том, что Мариэль, которая лежала мертвая где-то в Мальнеане и которую здесь готовились хоронить, – вовсе не та, кого я любил, но другая.

Поблуждав по улицам еще темнее и уже прежних, я нашел другой постоялый двор, с такой же выцветшей вывеской и во всех отношениях мало чем отличавшийся от первого. Дверь была заперта, и, в страхе постучав, я нисколько не удивился, когда другой похожий на мертвеца человек с похоронной торжественностью сообщил:

– У нас не найдется для тебя кровя. Все комнаты заняты музыкантами и плакальщиками, что прибыли на похороны леди Мариэль, и они потребовали себе все вино.

Страх мой пред этим городом еще возрос, ибо выходило, что все жители Мальнеана были заняты приготовлениями к погребальному обряду над здешней леди Мариэль. Точно так же становилось ясно, что из-за этих самых приготовлений мне придется бродить по улицам всю ночь, и к моим ужасу и недоумению добавилась крайняя усталость.

Не успел я далеко отойти от второго постоялого двора, как вновь раздался колокольный звон, и я наконец понял, что доносится он из-под шпилей внезапно появившегося в тумане передо мной большого собора. В собор входили люди, и любопытство, сколь бы болезненным и опасным я его ни считал, заставило меня последовать за ними. Отчего-то мне казалось, что здесь я смогу больше узнать о мучившей меня тайне.

Внутри царил полумрак, и множества свечей едва хватало, чтобы осветить просторный неф и алтарь. Священники в черном, чьих лиц я не мог различить, читали молитвы, но слова их доносились до меня как во сне, и я ничего не слышал и не видел, кроме богато украшенного гроба, в котором лежало недвижимое тело в белом. Гроб был усыпан цветами всевозможных оттенков, и их томный аромат, словно болеутоляющее, проникал в мое сердце и мозг. Точно такие же цветы бросали на гроб Мариэль, и даже тогда, на ее похоронах, их запах на мгновение притупил мои чувства.

Словно в тумане я осознал, что кто-то стоит подле меня.

– Кто там лежит? – спросил я, не сводя взгляда с гроба. – По ком читают молитвы и звонят колокола?

– Это леди Мариэль, – медленно произнес в ответ замогильный голос. – Она умерла вчера и завтра будет погребена в склепах ее предков. Если желаешь, можешь подойти и взглянуть на нее.

Подойдя к краю гроба, с которого свисали, подобно хладным флагам, роскошные покрывала, я увидел лицо женщины, что лежала в нем с безмятежной улыбкой на губах; на ее закрытые веки падали мягкие тени. И лицо это принадлежало той самой Мариэль, которую я когда-то любил, – в том не было никаких сомнений. Волны времени застыли на лету, и все то, что некогда было или могло быть, все существовавшее в мире, кроме нее самой, превратилось в ускользающие тени; и так же, как прежде – вечность или мгновения назад? – душа моя разрывалась от горя и раскаяния. Я не мог ни пошевелиться, ни вскрикнуть, не мог даже заплакать, ибо слезы мои превратились в лед. И со всей жуткой определенностью я понял, что единственное в своем роде событие, смерть леди Мариэль, отделилось от всех прочих, вырвалось

из связи времен и обрело для себя место, где оно могло бы свершиться с уместной мрачностью и торжественностью, а может, оно даже построило вокруг себя весь этот гигантский лабиринт призрачного города, ожидая моего предназначенного судьбой возвращения сквозь туман обманчивого забытья.

Наконец чудовищным усилием воли я отвел взгляд и, с трудом передвигая налившиеся свинцом ноги, поспешно покинул собор, желая найти выход из мрачного лабиринта Мальнеана к воротам, через которые я сюда вошел. Но это оказалось нелегко, и я много часов бродил по слепым и душным, словно могилы, улочкам и извилистым переулкам, что вновь и вновь возвращали меня к своему началу, пока не выбрался на знакомую улицу, и теперь мог несколько увереннее направлять свои шаги. Из-за тумана уже поднимался тусклый, лишенный солнца рассвет, когда я пересек мост и вновь вышел на дорогу, уводившую прочь от этого рокового города.

С тех пор я немало путешествовал и побывал во многих краях. Однако ни разу не возникло у меня желания вновь посетить те древние обители тумана, ибо я боюсь снова оказаться в Мальнеане и обнаружить, что его жители все так же заняты приготовлениями к похоронам леди Мариэль.

Воскрешение гремучей змеи

– Как я уже говорил вам, коллеги, я ни на грош не верю в сверхъестественное.

Слова эти принадлежали Артуру Эвилтону, чьи рассказы о призрачном и жутком часто сравнивали с творениями По, Бирса и Мейчена. Одаренный богатым воображением, он умел создавать дьявольски убедительные подробности, ткал чудовищную паутину намеков, удивительным образом овладевая умами читателей, включая зачастую и тех, кто обычно не расположен к литературе подобного рода. Он часто хвалился, что воздействие его произведений на читателя имеет под собой вполне рациональную и отчасти даже научную основу, играет с элементами подсознательного ужаса и древними суевериями, что скрываются в сознании большинства человеческих существ; однако сам он утверждал, что решительно не верит ни в какие оккультные и мистические явления и никогда в жизни не испытывал перед ними ни малейшего страха.

Слушатели Эвилтона посмотрели на него слегка вопросительно. Джон Годфри, молодой художник-пейзажист, и Эмиль Шулер, богатый дилетант, попеременно забавлявшийся литературой и музыкой без особо серьезных намерений, – оба они были старыми друзьями и почитателями Эвилтона. В тот день они случайно встретились в его доме на Саттер-стрит в Сан-Франциско. Эвилтон, сидевший за письменным столом перед стопкой исписанных аккуратным почерком листов, отложил работу над новым рассказом, чтобы поболтать с приятелями и выкурить с ними трубочку-другую. Внешность его была столь же непримечательной, как и его почерк, и более подошла бы какому-нибудь адвокату, доктору или химику, нежели сочинителю причудливой фантастики. Помещение его библиотеки было обставлено довольно роскошно, как и подобает обиталищу спокойного и рассудительного джентльмена, без всякой экстравагантности. Необычно смотрелись только два стоявших на столе тяжелых медных подсвечника в виде атакующих змей и свернувшееся на невысоком книжном шкафу чучело гремучей змеи.

– Что ж, – заметил Годфри, – если что и может убедить меня в реальности сверхъестественного, так это ваши рассказы, Эвилтон. Я всегда читаю их при свете дня и после наступления темноты не стану этого делать даже на спор... Кстати, над чем вы сейчас работаете?

– Пишу рассказ о чучеле змеи, которое внезапно оживает, – ответил Эвилтон. – Я назвал его «Воскрешение гремучей змеи». Идея пришла мне в голову, когда я сегодня утром смотрел на свою гремучку.

– И полагаю, вы будете сегодня сидеть здесь вечером при свечах, – добавил Шулер, – без тени дрожи продолжая писать свой жизнерадостный ужастик.

Всем было хорошо известно, что Эвилтон работает в основном по ночам.

– Темнота помогает сосредоточиться, – улыбнулся Эвилтон. – К тому же, если учесть, что в основном действие моих рассказов происходит ночью, время самое подходящее.

– Да ради бога, – шутливо произнес Шулер и поднялся, собираясь уходить.

Годфри тоже решил, что пришло время расставаться.

– Кстати, – заметил хозяин дома, – я устраиваю небольшую вечеринку в конце недели. Не хотите заглянуть ко мне вечером следующей субботы? Придут еще двое или трое наших друзей. К тому времени я уже отделаюсь от этого рассказа, и мы повеселимся от души.

Годфри и Шулер приняли приглашение и вместе вышли на улицу. Жили они на другой стороне залива, в Окленде, и оба направлялись домой, а потому вместе поехали на трамвае до паромной пристани.

– Старина Эвилтон – подлинный пример живого противоречия, – заметил Шулер. – Конечно, в наши дни никто особо не верит в оккультизм или некромантию, но любой, кто в состоянии творить настолько реалистичные адские кошмары, от которых волосы встают

дыбом, не вправе относиться к ним столь хладнокровно. На мой взгляд, это просто-напросто неприлично.

– Согласен, – кивнул его товарищ. – Он так чертовски прозаичен, что мне хочется, как на Хеллоуин, завернуться в старую простыню и прикинуться, допустим, привидением, просто чтобы вытряхнуть из него это скептическое самодовольство.

– Боги и призраки! – воскликнул Шулер. – У меня идея. Помните, что говорил нам Эвилтон про новый рассказ, который он пишет, – об оживающей змее?

Он описал пришедшую ему в голову озорную мысль, и оба рассмеялись, точно школьники, замышляющие проказу.

– Почему бы и нет? Напугаем старину как следует, – усмехнулся Годфри. – Пусть думает, что его фантазии куда научнее, чем ему грезилось.

– Я знаю, где найти подходящую, – сказал Шулер. – Положу ее в рыбацкую корзинку и спрячу у себя в саквояже в следующую субботу, когда пойдем к Эвилтону. А потом поищем возможность совершить подмену.

Вечером субботы двое друзей вместе явились в дом Эвилтона. Их впустил японец, исполнявший роли повара, дворецкого, домашнего слуги и камердинера. Там уже были другие гости – пришедшие еще утром двое молодых музыкантов, и Эвилтон, пребывавший в расслабленном настроении, рассказывал им историю, которая, судя по взрывам хохота, не принадлежала к числу тех, что сделали его столь знаменитым. Казалось почти невероятным, что он мог быть автором чудовищных, леденящих кровь ужасов, прославивших его имя.

Вечер прошел удачно – с хорошим ужином, картами и довоенным бурбоном, – а после полуночи Эвилтон проводил гостей по комнатам и ушел к себе.

Годфри и Шулер не легли спать, засев за разговорами в предоставленной им комнате, пока наконец в доме не стало тихо, а все прочие не заснули. Друзья знали, что Эвилтон спит крепко, – он хвастался, что даже грохот завода или духовой оркестр не смогут его разбудить уже через пять минут после того, как его голова коснется подушки.

– Пора, – наконец прошептал Шулер.

Он достал из саквояжа рыбацкую корзинку, в которой сидел большой и довольно беспокойный бычий полоз. Тихо открыв дверь, заговорщики на цыпочках направились к библиотеке Эвилтона в дальнем конце коридора. Их план заключался в том, чтобы оставить там живого полоза, забрав чучело гремучей змеи. Бычий полоз немного похож на гремучую змею расцветкой, а для пущего правдоподобия Шулер даже обзавелся набором погремушек, которые намеревался привязать ниткой к хвосту змеи, прежде чем ее выпустить. Предполагалось, что подобная подмена повергнет в немалый шок даже такого непоколебимого скептика с железными нервами, как Эвилтон.

Будто способствуя их плану, дверь в библиотеку оказалась приоткрыта. Годфри достал фонарик, и они вошли. Отчего-то, несмотря на веселое настроение, задуманный школьный розыгрыш и выпитый бурбон, они, едва перешагнув порог, ощутили какую-то странную зловещую тревогу. Казалось, будто в темноте заполненной книгами комнаты, где Эвилтон плел свою призрачную паутину, таится незримая и неведомая угроза. Оба начали вспоминать ужасные случаи из его страшных рассказов, которые теперь казались еще правдоподобнее, чем представлялись ранее благодаря дьявольскому искусству автора. Но друзья не вполне постигали природу своих ощущений, равно как и причины, которые могли эти ощущения вызвать.

– Что-то мне не по себе, – признался Шулер, замерев посреди темной библиотеки. – Ты бы включил фонарик, что ли...

Луч фонаря упал на низкий книжный шкаф, где должна была лежать свернувшаяся гремучая змея, но, к их удивлению, змеи на привычном месте не оказалось.

– Где эта проклятая тварь? – пробормотал Годфри.

Он направил свет на соседние шкафы, а затем на пол и кресла, но предмет их поиска нигде не обнаруживался. Наконец луч упал на письменный стол Эвилтона, и они увидели змею, которую тот, видимо, пребывая в мрачно-юмористическом настроении, положил на стопку исписанных листов вместо пресс-папье. Позади нее блеснули два подсвечника в виде змей.

– Ах вот ты где, – сказал Шулер.

Он уже собирался открыть свою корзинку, но тут произошло нечто непредвиденное. Шулер и Годфри заметили на письменном столе какое-то движение, и прямо у них на глазах свернувшаяся на стопке бумаг гремучая змея медленно подняла свою стреловидную голову и высунула длинный раздвоенный язык. Холодный взгляд ее немигающих глаз в буквальном смысле гипнотизировал незваных гостей, которые в ужасе уставились на нее; затем они услышали резкий треск погремушек на ее хвосте – точно высохшие семена зашуршали в стручке на ветру.

– Господи! – воскликнул Шулер. – Эта тварь живая!

Не успел он договорить, как фонарик выпал из руки Годфри и погас, оставив их в крошечной темноте. Они замерли, окаменев от изумления и ужаса, и снова услышали шорох, а затем стук – что-то упало на пол. Спустя несколько мгновений вновь послышался резкий треск, на сей раз почти у самых ног.

Годфри вскрикнул, Шулер неразборчиво выругался, и оба бросились к открытой двери. Бежавший впереди Шулер, переступив порог коридора, тускло освещенного единственной лампочкой, услышал, как за спиной с грохотом упал его товарищ, а затем раздался вопль, полный безграничного ужаса, от которого кровь стыла в жилах, а мозг превращался в лед. Охваченному парализующей паникой Шулеру даже не пришло в голову остановиться и взглянуть, что случилось с Годфри, – единственным его желанием было убраться как можно дальше от этой проклятой библиотеки.

В дверях своей комнаты появился одетый в пижаму Эвилтон, разбуженный диким криком Годфри.

– В чем дело? – дружелюбно улыбаясь, спросил писатель, но тут же посерьезнел, увидев белое, как мрамор, лицо Шулера и его неестественно расширенные глаза.

– Змея! – выдохнул Шулер. – Змея! Змея! С Годфри случилось что-то ужасное – он упал, а эта тварь ползла сразу за ним!

– Какая змея? Вы же не про мое чучело гремучки?

– Чучело? – завопил Шулер. – Эта проклятая тварь живая! Она ползла за нами и гремела прямо у нас под ногами! А потом Годфри споткнулся, упал и больше не поднялся.

– Не понимаю, – пробормотал Эвилтон. – Такого просто не может быть – уверяю вас, это противоречит всем законам природы. Я убил эту змею четыре года назад в округе Эль-Дорадо и отдал опытному таксидермисту, чтобы тот сделал из нее чучело.

– Идите сами посмотрите! – вызывающе бросил Шулер.

Эвилтон тотчас же прошел в библиотеку и включил свет. Шулер, сумев отчасти справиться с паникой и мучившим его страшным предчувствием, осторожно последовал за ним, держась позади на некотором расстоянии. Эвилтон склонился над скорчившимся телом Годфри, неподвижно лежавшим у двери. Неподалеку валялась брошенная корзинка. Чучело гремучей змеи свернулось на своем обычном месте наверху книжного шкафа.

– Похоже, он мертв, – с серьезным и задумчивым видом проговорил Эвилтон, убирая руку с груди Годфри. – Сердечный приступ из-за потрясения.

Ни он, ни Шулер не могли вынести вида запрокинутого лица Годфри, похожего на страшную маску, где навек застыли чудовищный ужас и нечеловеческое страдание. Стараясь избежать мертвого взгляда его широко раскрытых глаз, они оба одновременно посмотрели на его правую руку, крепко стиснутую в кулак и прижатую к телу.

Ни тот ни другой не смогли вымолвить ни слова, когда увидели то, что торчало между пальцев Годфри. То была связка погремушек, и на самой крайней – очевидно, оторванной от змеинового хвоста – еще болтались клочья влажной окровавленной плоти.

Тринадцать призраков

– Но я не изменял твоей душе, Кинара.

Джон Алвингтон силился приподняться, шепча про себя старинный рефрен из стихотворения Доусона. Но голова и плечи вновь бессильно рухнули на подушку, а в мозгу ледяной струйкой пробежало понимание: быть может, врач был прав и конец близок. Мимолетно привиделись бальзамирующий раствор, иммортиели, гвозди, забитые в крышку гроба, и падающие на этот гроб комья земли; но такие мысли были Джону Алвингтону совершенно чужды, лучше вспоминать Элспет. Не без подходящего случая содрогания он прогнал могильные думы.

В последнее время он часто думал об Элспет. Впрочем, он ее никогда и не забывал. Его называли повесой, но про себя он знал, и знал всегда, что это неправда. Говорили, что он разбил или по крайней мере уязвил сердца двенадцати женщин, включая обеих жен, и, как ни странно, в кои-то веки сплетники не преувеличивали – число было точное. Но сам Джон Алвингтон знал наверняка, что в его жизни имела значение только одна женщина, хотя никому и в голову не приходило назвать ее в числе тех двенадцати.

Он любил одну только Элспет; и он ее потерял из-за юношеской ссоры. Они так и не помирились, а через год она умерла. Все прочие женщины были ошибкой, миражом – его тянуло к ним лишь оттого, что они чем-то вскользь напоминали Элспет. Быть может, он обошелся с ними жестоко, и уж точно он им изменял. Но, бросая их, разве не хранил он тем самым верность Элспет?

Отчего-то сегодня ее образ представлялся ему так отчетливо, как давно уже не случилось, – будто стерли пыль с портрета. Джон Алвингтон удивительно ясно видел смешливые глаза, словно у проказливого эльфа, и темные кудряшки, которые подпрыгивали, когда она, смеясь, вскидывала голову. Она была высокого роста – неожиданно высокого при таком ее сходстве с феей, но тем прелестней; а ему и всегда нравились высокие женщины.

Сколько раз он вздрагивал, будто встретив привидение, когда видел женщину с похожей фигурой, похожими жестами, взглядом, интонацией; и бесповоротно разочаровывался, когда становилось ясно, что сходство это мнимое. И всякий раз она, его истинная любовь, рано или поздно вставала между ним и всеми прочими.

Он стал вспоминать почти забытое – камею из сердолика, что была на ней в день их первой встречи, и крошечную родинку на левом плече, увиденную однажды, когда она надела наряд с необычным по моде того времени глубоким декольте. Вспомнил и простое бледно-зеленое платье, что так восхитительно облегалo ее стан в то утро, когда он расстался с ней, – сухо попрощался и больше ее не видел...

Никогда еще, сказал он себе, не была его память настолько ясной. Врач наверняка ошибся, ведь разум нисколько не слабеет. Не может болезнь быть смертельной, когда воспоминания об Элспет приходят с такой легкостью и так ярко.

Он вспоминал один за другим каждый день их помолвки, что длилась семь месяцев и могла бы закончиться счастливой свадьбой, если бы не привычка Элспет обижаться по пустякам и не его ответные вспышки. Во время решающей ссоры Джону не хватило дипломатичности. Как все это близко, как больно ранит. Какая злая судьба разлучила их и после всю жизнь гнала его от одной пустой иллюзии к другой?

Он не помнил, не мог помнить прочих женщин – разве только то, что в них ненадолго увидел сходство с Элспет. Пусть его считают донжуаном, сам он знает, что безнадежно сентиментален.

Что за звук ему послышался? Кто-то открыл дверь? Должно быть, сиделка – больше никто в такой поздний час не заходит в его комнату. Сиделка – славная девочка, хотя ничуть

не похожа на Элспет. Он попробовал повернуться к ней, и это далось ему огромным усилием, совершенно несоразмерным такому ничтожному движению.

Все-таки не сиделка. Она всегда одевается в белоснежную униформу своей профессии, а на этой женщине платье чудесного прохладно-зеленого оттенка – зелень морской воды на мелководье. Лица не видно – она стоит спиной к кровати, – но платье смутно знакомо. Джон Алвингтон не сразу поймал воспоминание и вдруг потрясенно понял: в этом платье Элспет была в день их ссоры, это платье он всего несколько минут назад рисовал себе мысленно. Сейчас такие уже не носят.

Кто же она? И фигура кажется знакомой – высокая, стройная.

Женщина обернулась, и Джон Алвингтон увидел, что это Элспет – та самая Элспет, с которой он распрощался с таким ожесточением и которая умерла, так и не позволив ему увидеть ее снова. Но как это может быть Элспет, ее же давно нет? И так же внезапно логика вывернулась наизнанку: как могла она умереть, ведь вот же она, стоит перед ним? Бесконечно лучше верить, что она жива, и так хочется с ней заговорить. Он попробовал вымолвить ее имя, но не смог издать ни звука.

И вновь послышалось, что открывается дверь. Оказывается, в тени за спиной Элспет стоит еще одна женщина. Она выходит вперед, на ней зеленое платье, точь-в-точь как у его любимой. Она подняла голову – у нее лицо Элспет! Те же дразнящие глаза и капризный насмешливый рот, но разве могут быть на свете две Элспет?

В растерянности он старался свыкнуться с такой диковинной мыслью, но пока силился постичь необъяснимое, показалась третья женщина в зеленом, за ней четвертая, пятая, и все они встали рядом с первыми двумя. На этом не кончилось – входили и другие, пока не заполнили всю комнату, и все на одно лицо и в такой же одежде, как у его мертвой возлюбленной. Ни одна не произнесла ни слова, но все смотрели на него, и во взгляде этом он как будто различал жестокую издевку, не чета тому легкому поддразниванию, что видел он когда-то в глазах Элспет.

Он лежал, замерев, борясь с ужасным темным сомнением. Как может вдруг быть такое множество Элспет, когда сам он, сколько может вспомнить, знал только одну? Да сколько же их здесь? Что-то его толкнуло сосчитать. Вышло, что перед ним тринадцать призраков в зеленом. Число показалось знакомым. Говорили ведь, что он разбил сердце тринадцати женщинам? Или их было всего двенадцать? Впрочем, если причислить к ним Элспет, что разбила сердце ему, как раз тринадцать и получится.

Вот они принялись так знакомо встряхивать кудрями, и все звонко, весело, проказливо смеются. Неужели над ним? Элспет часто над ним смеялась, но он все равно любил ее всей душой...

Вдруг его одолели сомнения, не ошибся ли он в счете. Чудилось, будто женщин в комнате то больше, то меньше. Кто же из них настоящая Элспет? В конце концов, он точно знает, что другой никогда не было – всего лишь череда женщин, отдаленно напоминающих Элспет, а на самом деле, как познакомишься с ними поближе, ничуть на нее не похожих.

И пока он тщился пересчитать и рассмотреть лица, что толпились вокруг него, все они поблекли, расплылись, и он почти уже забыл, к чему эти старания... Которая из них Элспет? Да была ли она, настоящая Элспет? Он уже ни в чем не был уверен, а затем наступило забвение, и он ушел в иные края, где нет ни женщин, ни призраков, ни любви, ни задач по устному счету.

Венера Азомбейская

Статуэтка высотой не больше двенадцати дюймов изображала женскую фигуру, чем-то напоминавшую мне Венеру Медицейскую, несмотря на множество различий в чертах и пропорциях. Вырезанная из черного дерева, она была тяжела, словно мрамор; ее неизвестный создатель проявил немалое искусство, воплотив в негроидных формах почти классическую в своем совершенстве красоту. Фигурка стояла на подставке в форме полумесяца, раздвоенная сторона которого служила ей основанием. При более внимательном рассмотрении я обнаружил, что сходству с Венерой Медицейской она обязана в основном позой и изгибами бедер и плеч; правая рука, однако, была поднята выше, чем у Венеры, словно поглаживая отполированный до блеска живот, а лицо было несколько полнее, с загадочной сладострастной улыбкой на пухлых губах и чувственно опущенными веками, похожими на лепестки какого-то экзотического цветка, который складывает их душным бархатным вечером. Удивительное мастерство художника вполне могло составить достойную конкуренцию творениям древнеримских скульпторов более примитивных периодов.

Эту фигурку привез из Африки мой друг Марсден, и она всегда стояла на столе у него в библиотеке. Она очаровала меня с первого взгляда, пробудив немалое любопытство, но Марсден предпочитал отмалчиваться, упомянув лишь, что это произведение негритянского искусства, изображающее богиню малоизвестного племени в верховьях реки Бенуэ на плоскогорье Адамава. Но сама его сдержанность и какая-то многозначительность, а также волнение в голосе, звучавшее каждый раз, когда заходила речь о статуэтке, не оставляли сомнений, что за ней кроется какая-то история. Хорошо зная Марсдена, чья таинственность не раз сменялась приступами словоохотливой откровенности, я был уверен, что рано или поздно он мне все расскажет.

Марсдена я знал еще со студенческих времен – мы учились на одном курсе в Беркли. Друзей у него было мало, и, пожалуй, ни с кем у него не сложилось столь длительных и близких отношений, как со мной. А потому никто лучше меня не мог заметить необъяснимую перемену, случившуюся с ним после его двухлетнего путешествия по Африке, – перемену как в физическом, так и в духовном смысле. Одни изменения казались столь неуловимыми, что им с трудом можно было дать название или хотя бы определить их более-менее отчетливо. Другие сразу же бросались в глаза – свойственная Марсдену меланхолия обострилась еще больше, переходя порой в приступы жестокой депрессии, а здоровье, которым он никогда особо не отличался, резко ухудшилось. Я помнил его высоким и жилистым, с землистым лицом, черными волосами и ясными лазурными глазами; но после возвращения он основательно похудел и сильно сгорбился, словно потеряв в росте, лицо избороздили морщины, кожа приобрела мертвенно-бледный оттенок, волосы густо усеяла седина, а в глазах его, которые странно потемнели, словно вобрав в себя глубокую синеву тропических ночей, пылал смертельный огонь, какой горит в глазах умирающего от экваториальной лихорадки. Мне и впрямь не раз приходило в голову, что Марсден подхватил в джунглях некую болезнь, от которой так и не оправился. Но всякий раз, когда я пытался его расспрашивать, он отвечал отрицательно.

Более неуловимые перемены, о которых я упоминал, касались его душевного состояния, и вряд ли я смог бы в точности назвать их все. Но по крайней мере одну невозможно было не заметить – Марсден всегда отличался смелостью и отвагой, а крепости его нервов, несмотря на склонность к меланхолии, мог позавидовать любой; однако теперь мне не раз приходилось замечать в его поведении скрытность и неопишемую тревогу, что совершенно не соответствовало его характеру. Иногда даже посреди самого обычного разговора по его лицу могла пробежать тень страха, он беспокойно взглядывался в темные углы и замолкал на середине фразы, будто забыв, что собирался сказать; через несколько мгновений он приходил в себя и продол-

жал прерванную речь. У него появились странные привычки: к примеру, всякий раз, переступая любой порог, он оглядывался, будто в страхе перед невидимым преследователем или неотвратимой гибелью, сторожащей каждый его шаг. Но все это, естественно, могло объясняться нервным расстройством или следствием предполагаемой мной болезни. Сам Марсден не желал обсуждать этот вопрос, так что после нескольких тактичных предложений раскрыть, если ему угодно, душу я стал молчаливо игнорировать видимые перемены в его поведении и характере, хотя и чувствовал, что за всем этим кроется некая реальная и, возможно, трагическая тайна, с которой, вполне вероятно, как-то связана черная статуэтка на столе. Марсден немало рассказывал мне о своем путешествии в Африку, которое предпринял, поддавшись очарованию древнего континента, увлечения всей его жизни, но я интуитивно ощущал, что он скрывает от меня намного больше.

Однажды утром, месяца через полтора после возвращения Марсдена, я пришел к нему после нескольких дней отсутствия, в течение которых был крайне занят. Он жил один в большом доме на Рашен-Хилл в Сан-Франциско, который унаследовал вместе с приличным состоянием от давно умерших родителей. Вопреки обыкновению, он мне не открыл, и, если бы не мой острый слух, вряд ли я бы расслышал слабый голос, приглашавший меня войти. Толкнув дверь, я прошел через коридор в библиотеку, откуда донесся его голос, и обнаружил, что он лежит на диване возле стола, на котором стояла черная статуэтка. Мне сразу же стало ясно, что мой друг очень болен; за несколько дней, что мы не виделись, он чудовищно похудел и побледнел, словно бы съезжился, став меньше ростом, что нельзя было объяснить только согбенностью плеч. Марсден весь высох и увял, будто его пожирало невидимое пламя. Он заметно постарел, волосы поседели еще сильнее, точно усыпанные белым пеплом. Ввалившиеся глаза напоминали тлеющие в глубоких пещерах угли. Увидев его, я с трудом сдержал возглас испуганного изумления.

– Что ж, Холли, – приветствовал он меня, – похоже, дни мои сочтены. Я знал, что эта дрянь со временем меня прикончит, знал, еще когда покидал берега Бенуэ с изображением богини Ванары в качестве памятного подарка... Африка полна кошмаров, Холли... пагубных вожделений, порочности, яда, колдовства... Они гибельнее самой смерти – по крайней мере смерти в любом известном нам виде. Никогда не ездил туда... если тебе дороги твои тело и душа.

Я попытался его приободрить, стараясь не обращать внимания на таинственные аллюзии и загадочные намеки.

– У тебя какая-то африканская лихорадка, – сказал я. – Тебе надо обратиться к врачу – собственно, следовало сделать это уже несколько недель или месяцев назад. Не вижу никаких причин, почему бы тебе от нее не излечиться, особенно теперь, когда ты вернулся в Америку. Но конечно, здесь потребуется помощь опытных медиков – нельзя оставлять без внимания столь коварную и загадочную болезнь.

– Бесполезно, старина. – Мертвенно-бледные губы Марсдена изогнулись в чудовищном подобии улыбки. – Я знаю свою болезнь лучше любых докторов. Возможно, конечно, что у меня действительно немного повышена температура, в этом нет ничего удивительного, но моя горячка не из тех, что занесены в медицинские анналы. И от нее нет лекарства ни в одной фармакопее.

Его лицо исказила жуткая гримаса, и оно будто съезжилось на моих глазах, подобно листку бумаги, что горит, обращаясь в пепел. Словно перестав меня замечать, Марсден что-то сбивчиво забормотал хриплым скрипучим шепотом, точно его голосовые связки подвергались тем же кошмарным метаморфозам, что и лицо. Но большую часть слов я все же расслышал:

– Она тоже умирает... как и я... хотя она живая богиня... Мьибалое, зачем ты выпила пальмовое вино?... Ты тоже увянешь, страдая от этой грызущей, царапающей пытки... Твое прекрасное тело... каким совершенным, каким великолепным оно было!.. Ты увянешь через

несколько недель, словно маленькая старушка... испытывая адские муки... Мьибалоз! Мьибалоз!

Речь его превратилась в бессвязные стоны, лишь изредка перемежавшиеся отдельными словами. Во всех отношениях он походил на умирающего – все его тело как будто сократилось в размерах, словно уменьшились все его мускулы, нервы и даже кости, а губы растянулись в кошмарной ухмылке, обнажив тонкую белую линию зубов.

Я бросился в столовую, где, как я знал, на буфете обычно стоял графин старого шотландского виски, и, наполнив стакан, поспешил назад. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы разжать Марсдену зубы и влить немного крепкой жидкости в рот. Эффект оказался почти мгновенным – мой друг полностью ожил, лицо его расслабилось, и жуткие спазмы перестали терзать его тело.

– Прости, что доставляю тебе столько хлопот, – проговорил он. – Но сегодня кризис миновал, хотя кто знает, что будет завтра...

Он содрогнулся, и в его темных глазах мелькнула призрачная тень какого-то неодолимого ужаса.

Заставив его выпить остатки виски, я направился к телефону и взял на себя смелость вызвать врача, чьи способности были лично известны нам обоим. Мой друг слегка улыбнулся, благодаря меня за заботу, но лишь покачал головой.

– Конец уже близок, – сказал он. – Симптомы мне знакомы – после того, что случилось сегодня, речь идет о паре недель, может, чуть больше.

– Но что же это? – воскликнул я, движимый скорее страхом и тревогой за друга, нежели любопытством.

– Скоро узнаешь, – ответил он, показывая худым, как у скелета, пальцем на библиотечный стол. – Видишь рукопись?

На столе рядом с деревянной статуэткой я увидел стопку исписанных листов, которую до этого не замечал, охваченный беспокойством за Марсдена.

– Ты мой самый старый друг, – продолжал он, – и я знаю, что ты давно ждешь от меня объяснений по поводу того, что тебя озадачивает. Но дело идет о событиях столь необычайных и столь личного характера, что я так и не решился честно поведать тебе обо всем лицом к лицу. Поэтому я написал для тебя полный отчет о последних двух месяцах моего пребывания в Африке, о которых я столь мало рассказывал до сих пор. Можешь взять рукопись с собой, когда будешь уходить, но, умоляю тебя, не читай ее, пока я не умру. Не сомневаюсь, что в этом отношении я могу тебе полностью доверять. Когда прочтешь, ты узнаешь причину моей болезни и историю черной статуетки, столь долго дразнившей твоё любопытство.

Несколько минут спустя в дверь постучали. Как и ожидалось, пришел доктор Пелтон, который жил всего в нескольких кварталах от Марсдена и немедленно отправился на мой вызов. Всем своим видом он излучал энергичную профессиональную уверенность и желание приободрить больного, столь свойственные знающим свое дело врачам. Но когда он осматривал Марсдена, я не мог не заметить в его поведении оттенок сомнения и настоящего замешательства.

– Вряд ли я могу точно сказать, что с вами, – признался он, – но, думаю, ваш недуг в основном связан с нервами и проблемами с пищеварением. Наверняка виной тому африканский климат и еда, которые основательно расстроили ваш организм. Если сегодняшний приступ повторится, вам потребуется сиделка.

Он выписал рецепт и вскоре ушел. Ввиду неотложных дел я тоже был вынужден через полчаса последовать за ним, забрав с собой рукопись Марсдена. Но, прежде чем уйти, я с согласия Марсдена вызвал по телефону сиделку и оставил друга на ее попечение, пообещав как можно скорее вернуться.

Вряд ли я смогу описать последовавшие за этим две недели, полные долгих мучений и кратких иллюзорных сдвигов к лучшему, вслед за которыми возникали еще более чудовищные рецидивы. Я проводил с Марсденом все свободное время, поскольку мое присутствие, похоже, его немного успокаивало, за исключением становившихся все длиннее жутких ежедневных приступов, когда он переставал осознавать окружающее. Тогда, во время все более затяжных периодов бреда, он лишь что-то бессвязно бормотал или кричал в ужасе пред видимыми лишь ему одному предметами или людьми. Пребывание рядом с ним стало для меня беспримерно тяжким испытанием. И страшнее всего было то, что с каждым часом и каждым днем голова и тело Марсдена продолжали сморщиваться, а его рост непрестанно уменьшался, и вряд ли человеческий разум смог бы, не впад в безумие или забытие, вынести страдания, которые приходилось ему при этом переживать... Но я не в силах вдаваться в детали или описывать последние стадии его болезни и вряд ли осмелюсь даже намекнуть на то, в каком состоянии он умер и в каком виде гробовщику досталось его тело. Могу только сказать, что в самом конце оно было не больше тела ребенка или гнома; оно съежилось и неопишимо, до неузнаваемости изменилось, и груз, который пришлось нести сопровождающим гроб, был феноменально легким... Когда все закончилось, я поблагодарил Бога за запоздалую милость наступившей смерти моего друга. Случившееся полностью меня измотало, и лишь после похорон я набрался сил и решимости, чтобы прочесть рукопись Марсдена.

Отчет его был написан тонким, изысканным почерком, хотя под конец в нем чувствовались ажитация и тревога. Далее я привожу весь текст полностью, ничего не сокращая и не приукрашивая.

Я, Джулиус Марсден, всю жизнь неизъяснимо тосковал по далекому и неизведанному. Я обожал сами названия отдаленных мест, загадочных морей, континентов и островов. Но ни одно другое слово не содержало в себе даже десятой части того неопишимо очарования, завораживавшего меня с самого детства, как слово «Африка». Оно околдовывало меня, словно какое-то некромантическое заклятие; оно казалось квинтэссенцией тайн и романтики, и ни одно женское имя не было для меня дороже, не могло соблазнить и увлечь меня так, как название этого загадочного континента. По счастливому стечению обстоятельств, которое, увы, далеко не всегда сопутствует осуществлению наших мечтаний, те двадцать два месяца, что я провел в путешествии по Марокко, Тунису, Египту, Занзибару, Сенегалу, Дагомее и Нигерии, нисколько меня не разочаровали, ибо реальность соответствовала моим грезам просто на удивление. В горячей и громадной лазури небес, в бескрайних равнинах пустынь, в буйстве джунглей, в несущих свои воды среди невероятных пейзажей могучих реках я нашел нечто глубоко родственное моей душе. В этом мире могли воплотиться мои самые необычайные мечты и я мог ощутить себя по-настоящему свободным, чего невозможно было достичь ни в каких иных местах.

В конце двадцать второго месяца моих странствий я путешествовал по верховьям реки Бенуэ, большого восточного притока Нигера. Моей целью было озеро Чад – впадающие в него реки соединяются с Бенуэ посредством болот на плоскогорье. Я вышел из Йолы с несколькими гребцами из племени фула, негровмагометан, и мы огибали восточный склон горы Алантика, огромной гранитной массы, поднимающейся на девять тысяч футов над плодородными землями Адамавы.

Мы пересекали живописный ландшафт; иногда нам попадались деревни, окруженные полями сорго, хлопка и ямса, и обширные пространства дикого буйного леса, баобабов, бананов, веерных пальм и панданусов, над которыми возвышались зазубренные вершины остроко- нечных холмов и фантастических изрезанных утесов.

Ближе к закату Алантика превратилась в голубоватую дымку вдаль, над зеленым морем джунглей. Пока мы продолжали свой путь в двух маленьких лодках, одна из которых была в

основном нагружена моим личным имуществом, я заметил, что мои гребцы о чем-то негромко переговариваются, то и дело повторяя слово «Азомбея», в котором звучали нотки предостережения и страха.

Я уже немного знал язык фула, а один из гребцов, высокий статный парень с кожей скорее бронзовой, нежели черной, владел неким подобием ломаного немецкого с вкраплением нескольких английских слов. Поинтересовавшись, о чем они разговаривают, я узнал, что Азомбея – название местности, к которой мы приближались. По словам гребца, ее населяло племя невероятно жестоких дикарей, которых до сих пор подозревали в канибализме и человеческих жертвоприношениях. Их не удалось понастоящему покорить ни магометанским завоевателям, ни нынешней германской администрации, и они продолжали вести первобытный образ жизни, поклоняясь богине по имени Ванара, незнакомой другим языческим племенам Адамавы, которые все поклонялись фетишам. Особую вражду они питали к неграм-магометанам, и вторгаться на их территорию было крайне опасно, особенно во время ежегодного религиозного праздника, которое происходило как раз в эти дни. Как признался гребец, ему и его товарищам не особо хотелось двигаться дальше.

Тогда я смолчал. Услышанный рассказ не вызывал у меня доверия – он отдавал предрассудками, свойственными замкнутым народностям, которые всегда с подозрением и страхом относятся к тем, кто обитает вне их территории. И все же меня охватило некоторое беспокойство, поскольку мне не хотелось, чтобы мое путешествие прервалось из-за сложностей с гребцами или туземцами.

Солнце зашло почти мгновенно, как обычно в тропиках, и в кратких сумерках я успел заметить, что лес по берегам стал еще более густым и буйным. Во мраке высились громады древних баобабов, а над рекой изумрудными водопадами покачивались лозы гигантских растений. Надо всем этим царила первобытная тишина, которую нарушали только звуки скрытой экзотической жизни – тайное дыхание невыразимой страсти, непостижимых опасностей, всеохватывающего и неодолимого стремления к размножению.

Высадившись на поросшем травой берегу, мы разбили лагерь на ночь. Поужинав ямсом, земляными орехами и консервированным мясом, к которым я добавил толику пальмового вина, я поднял вопрос о продолжении нашего путешествия; но лишь после того, как я пообещал утроить жалованье гребцам, они согласились доставить меня в страну азомбейцев. Я не был склонен всерьез относиться к их страхам, начиная подозревать, что вся эта история – всего лишь выдумка с единственной целью добиться от меня прибавки. Но доказать это я, естественно, не мог, а гребцы выказывали нежелание продолжать путь, клянясь Аллахом и его пророком Магометом, что им грозит страшная опасность и что они и даже я сам можем стать мясом в супе на пиру азомбейцев или превратиться в дым на языческом алтаре еще до следующего захода солнца. Они рассказали мне о некоторых любопытных подробностях, касавшихся обычаев и верований народа Азомбеи. По их словам, народом этим правила женщина, которую считали живой наместницей богини Ванары, и ей оказывались соответствующие божественные почести. Насколько я смог понять, Ванара была богиней любви и деторождения, чем-то напоминая римскую Венеру и карфагенскую Танит. Даже тогда меня удивило некоторое этимологическое сходство ее имени с именем Венеры – сходство, о котором мне вскоре предстояло многое узнать. Как мне рассказали, поклонение ей сопровождалось настолько разнузданными и дикими обрядами, что те приводили в трепет даже живущих по соседству дикарей, которые и сами предавались низменным практикам, способным вызвать священный ужас у любого правоверного мусульманина. Кроме того, азомбейцев считали отъявленными колдунами, а их шаманов боялись по всей Адамаве.

Хоть я и убеждал себя, что эти слухи весьма преувеличенны, а может быть, и вовсе лишь сказки, они тем не менее возбудили мое любопытство. Мне доводилось видеть некоторые негритянские религиозные обряды, и я вполне мог поверить в рассказы о разнузданных

orgiaх. Размышляя об услышанном, я долго не мог заснуть, а когда наконец сумел забыться тревожным сном, меня всю ночь мучили беспокойные видения.

Проснувшись незадолго до рассвета, когда красный рог ущербной луны уже опускался за верхушки пальм на западе, и полусонно оглядевшись вокруг, я обнаружил, что остался один. Гребцы и их лодки исчезли, хотя мне оставили мое имущество и часть провизии, проявив удивительную честность, если учесть все обстоятельства. Судя по всему, опасения фула оказались искренними, и благоразумие пересилило их жажду наживы.

Несколько встревоженный перспективой продолжать путь в одиночку – если продолжать его вообще – и без каких-либо транспортных средств, я нерешительно стоял на берегу реки, пока не начало светать. Мысль о том, что придется возвращаться, мне не нравилась, и, сочтя маловероятным, что мне может угрожать серьезная опасность от рук туземцев в регионе, управляемом немцами, я в конце концов решил двинуться дальше и попытаться нанять носильщиков или лодочников на территории азомбейцев. Большую часть вещей мне пришлось бы оставить у реки и вернуться за ними позже, надеясь, что их никто не тронет.

Едва я принял решение, как за моей спиной послышался тихий шелест травы. Обернувшись, я понял, что больше не один, хотя явились вовсе не фула, как мне на мгновение почудилось. Передо мной стояли две негритянки, одетые немногим больше чем в легкий янтарный свет утреннего солнца. Обе они были высокого роста и пропорционального телосложения, но та, что шла впереди, изумила и потрясла меня, и вовсе не из-за внезапности своего появления.

Ее появление поразило бы меня в любом месте, в любое время. Несмотря на черную бархатную кожу с проблесками бронзы, всеми своими чертами и пропорциями она походила на античную Венеру. Даже у белых женщин мне редко приходилось встречать столь правильные и совершенные черты. Застыв передо мной, она напоминала статую жительницы Рима или Помпей, изваянную из черного мрамора скульптором времен упадка Римской империи. Ее серьезный взгляд был полон загадочной чувственности и таинственного самообладания в союзе с великой безмятежностью. Густые волосы были уложены кольцом на затылке, прикрывая изящную шею. Между ее грудями висели на цепочке из кованого серебра несколько ярко-красных гранатов, покрытых грубой резьбой, подробностей которой я тогда не заметил. Взглянув мне прямо в глаза, она улыбнулась с наивным восторгом и озорством, видимо почувствовав мое замешательство, и улыбка эта пленила меня навек.

Вторая женщина принадлежала к негроидному типу, хотя тоже показалась мне по-своему привлекательной. Судя по ее поведению и манерам, она находилась в подчинении у первой – вероятно, рабыня или служанка. Единственное подобие одежды на обеих составляли небольшие квадратные куски ткани, свисавшие спереди с пояса из пальмовых волокон, но у первой ткань была тоньше, и ее украшала бахрома из шелковых кисточек.

Повернувшись к своей спутнице, первая женщина произнесла несколько слов на каком-то сладкозвучном, текучем наречии, и та ответила ей столь же мелодичным и мягким голосом. Несколько раз повторилось слово «арумани», сопровождавшееся взглядами на меня, и я предположил, что стал главной темой их разговора. Я не понимал их языка, не имевшего ничего общего с языком фула и отличавшегося от языка любого племени, которые я до сих пор встречал в Адамаве, но часть его вокабул дразнила меня смутным ощущением чего-то знакомого, хотя тогда я не мог определить, на чем основывалось это чувство.

Я обратился к двум женщинам на своем скудном языке фула, спросив, не из племени ли они азомбейцев. Улыбнувшись, они кивнули, услышав знакомое слово, и знаками велели мне следовать за ними.

Солнце уже поднялось над горизонтом, заливая лес восхитительным золотым сиянием. Женщины повели меня вдаль от берега, по тропинке, извивавшейся среди гигантских баобабов. Они с грациозным изяществом шагали передо мной, и первая то и дело оглядывалась через плечо, любезно улыбаясь изогнутыми полными губами и деликатно, почти кокетливо

опуская веки. Я шел следом, охваченный прежде неизвестными мне чувствами, в которых смешались первые пульсации нарастающего жара, разжигаемого неизвестным утонченным любопытством, и подобное опиумным грезам, восторженное очарование Цирцеи – словно древняя притягательность Африки вдруг воплотилась в человеческом облике.

Лес начал редеть, сменившись возделанными полями, а затем мы вошли в большую деревню из глиняных хижин. Показав на них, мои черные проводницы произнесли одно слово: «Азомбея», – как я узнал позже, это имя носили и главное селение, и сама местность.

Здесь было полно негров, и многие, как мужского, так и женского пола, отличались четко прослеживающимся типом внешности, необъяснимо напоминающим тот же классический облик, что и у двух встреченных мною женщин. Цвет их кожи варьировался от черного, как эбеновое дерево, до знойного оттенка потускневшей меди. Они сразу же столпились вокруг нас, с дружелюбным любопытством разглядывая меня и выказывая знаки почтения и благоговения моей похожей на Венеру спутнице. Очевидно, она занимала среди них высокое положение, и я в очередной раз подумал, не она ли та самая женщина, о которой говорили фула, – правительница Азомбеи и живая наместница богини Ванары.

Я попытался заговорить с туземцами, но меня никто не понимал, пока не явился лысый старик со спутанной седой бородой, который поприветствовал меня на ломаном английском. Как я понял, в юности он путешествовал до самой Нигерии, чему и был обязан своими лингвистическими познаниями. Больше никто из племени не бывал за пределами своей территории дальше нескольких миль. Видимо, они мало общались с посторонними, как с неграми, так и с белыми.

Старик оказался приветлив, словоохотлив и радовался возможности похвалиться своим владением чужим языком. Мне даже не пришлось его расспрашивать – он сам сразу же начал делиться со мной сведениями, которые я желал узнать. Как он заявил, его народ очень рад меня видеть, поскольку они дружелюбно относятся к белым, хотя и не ладят с неграми-мусульманами Адамавы. Кроме того, для всех очевидно, что я завоевал расположение и покровительство богини Ванары, ибо появился среди них в сопровождении Мьибалозэ, их любимой правительницы, в которой обитает душа богини. С этими словами он смиренно поклонился моей симпатичной проводнице, а она улыбнулась и обратилась к нему с несколькими фразами. Он перевел мне, что Мьибалозэ приглашает меня остаться в Азомбее в качестве ее гостя.

До той минуты я намеревался немедленно завести разговор о найме носильщиков или лодочников, чтобы продолжить путь по Бенуэ, но, выслушав приглашение Мьибалозэ и увидев ее страстный, мечтательный, почти умоляющий взгляд, который она бросила на меня, пока переводили ее слова, я позабыл обо всех своих планах и велел переводчику поблагодарить Мьибалозэ и сказать ей, что я принимаю ее приглашение. Еще несколько часов назад я даже подумать не мог, что меня может заинтересовать черная женщина, поскольку прежде этот аспект очарования Африки никогда меня особо не трогал. Но теперь, словно оплетенные чарами таинственной магии, чувства мои обострились, а мыслительные процессы, напротив, замедлились, словно под воздействием некоего коварного наркотика. Я стремился добраться до озера Чад, и мне прежде не приходило в голову сделать остановку в пути, но сейчас казалось вполне естественным остаться в Азомбее, а озеро Чад превратилось в смутный отступающий мираж на грани забвения.

Когда Мьибалозэ перевели мой ответ, лицо ее просияло, подобно утренней заре. Она обратилась к своим людям, видимо давая им некие указания. Затем она скрылась в толпе, а старый переводчик в сопровождении еще нескольких человек повел меня к предоставленной в мое распоряжение хижине. В хижине было достаточно чисто, пол устилали полосы из пальмовых листьев, испускавших приятный аромат. Мне принесли еду и вино, и со мной остались старик и две девушки – они сказали, что их назначили мне в услужение. Едва я успел поесть, как вошли еще несколько туземцев, неся мое оставленное на берегу реки имущество.

В ответ на мои расспросы переводчик, которого звали Ныгаза, поведал в той мере, в какой позволяли его знания английского, об истории, обычаях и религии народа Азомбеи. В соответствии с их традициями поклонение Ванаре считалось древним, как и сам мир, и его принесли с собой много веков назад некие белые пришельцы с севера, именовавшие себя «арумани». Пришельцы эти обосновались среди туземцев, обзаведясь семьями, и их кровь постепенно распространилась по всему племени, всегда державшемуся отдельно от других дикарей Адамавы. С тех пор здесь называли «арумани» всех белых и относились к ним с особым почтением – все по той же традиции. Ванара, как я уже знал от фула, была богиней любви и деторождения, матерью всего живого, властительницей мира, и бледнолицые пришельцы вырезали из дерева ее точное изображение, снабдив азомбейцев экземпляром их идола. По обычаю, с ее культом связывали одну из смертных женщин, которая становилась чем-то вроде аватары или воплощения богини. В качестве таковой жрецы и жрицы племени выбирали самую красивую из местных девушек, которая становилась правительницей и имела право взять себе в мужа любого мужчину. Восемнадцатилетнюю Мыбалоэ выбрали на эту роль совсем недавно, и сейчас шло ежегодное празднество в честь Ванары, сопровождавшееся обильными пиршествами и возлияниями, а также еженощными обрядами поклонения богине.

Слушая старика и размышляя над его словами, я увлекся занятными умопостроениями. Вполне возможно, рассудил я, бледнолицые пришельцы, о которых он говорил, – римская исследовательская экспедиция, пересекая Сахару со стороны Карфагена и проникшая в Судан. Этим вполне могли объясняться классические черты Мыбалоэ и других азомбейцев, а также имя и образ местной богини. Становилось ясно, отчего некоторые слова их языка показались мне смутно знакомыми: отчасти они напоминали латынь. Весьма озадаченный услышанным и теми выводами, которые мне удалось сделать, я почти перестал слушать болтовню Ныгазы и погрузился в задумчивость.

За весь день я ни разу больше не видел Мыбалоэ, хотя ожидал иного, и не получил от нее никакой весточки. В ответ на мой удивленный вопрос Ныгаза сообщил, что у нее неотложные дела, и, хитро улыбнувшись, заверил меня, что скоро я снова ее увижу.

Я отправился прогуляться по деревне в сопровождении переводчика и девушек, отказавшихся оставить меня хотя бы на минуту. Селение, как я уже говорил, было достаточно велико для африканской деревни – там, вероятно, жили от двух до трех тысяч человек. Повсюду царила удивительная чистота и порядок – судя по всему, азомбейцы отличались трудолюбием, бережливостью и прочими качествами, свойственными цивилизованным людям.

Ближе к закату появился посыльный с приглашением от Мыбалоэ, которое перевел Ныгаза. Мне предлагалось поужинать с ней в ее дворце, а затем посетить вечерние обряды в местном храме.

Дворец, стоявший на окраине селения среди пальм и панданусов, представлял собой лишь большую хижину, как и подобает африканским дворцам. Но внутри он выглядел уютным, даже роскошным, в обстановке чувствовался определенный, хоть и варварский вкус. Вдоль стен выстроились низкие кушетки, накрытые местными тканями или шкурами айю – водившейся в Бенуэ разновидности пресноводного ламантина. В центре стоял длинный стол высотой не больше фута, вокруг которого на корточках сидели гости. В углу, в некоем подобии ниши, я заметил маленькое деревянное изображение женщины – судя по всему, богини Ванары. Фигура странным образом напоминала римскую Венеру, но мне незачем описывать ее подробнее, поскольку ты часто видел эту статуэтку на столе у меня в библиотеке.

Мыбалоэ обратилась ко мне с многословным приветствием, которое, как обычно, перевел Ныгаза, и я, не желая ударить в грязь лицом, ответил цветистой, пылкой и вполне искренней речью. Хозяйка дома посадила меня по правую руку от себя, и началось пиршество. Как выяснилось, гостями были в основном жрецы и жрицы Ванары; все они разглядывали меня с дружелюбными улыбками, за исключением одного, недобро хмурившегося. Как объяснил мне

едва слышным шепотом Ньигаза, это был верховный жрец Мергаве, могущественный колдун или шаман, которого скорее боялись, нежели почитали; он давно был влюблен в Мьибалозэ и надеялся, что та выберет его себе в супруги.

Стараясь не подавать виду, я внимательнее пригляделся к Мергаве – мускулистому и широкоплечему дикарю шести с лишним футов ростом, без единой капли жира. Его лицо с правильными чертами было бы симпатичным, если бы не искажавшая его злобная гримаса. Каждый раз, когда Мьибалозэ улыбалась мне или обращалась ко мне через посредство Ньигазы, в глазах Мергаве вспыхивал демонический огонь. Я понял, что в первый же свой день в Азомбее обзавелся не только возможной возлюбленной, но и заклятым врагом.

Стол был уставлен экваториальными деликатесами: мясом молодых носорогов, несколькими видами дичи, бананами, папайями и сладким, дурманящим пальмовым вином. Большинство гостей насыщались со свойственным африканцам обжорством, но манеры Мьибалозэ были изысканны, как у любой европейской девушки, и своей сдержанностью она пленила меня еще больше. Мергаве тоже ел мало, зато пил сверх всякой меры, словно пытаясь как можно скорее опьянеть. Трапеза длилась долгие часы, но я все меньше обращал внимания на застолье и гостей, зачарованный видом Мьибалозэ. Ее гибкая девичья грация, нежность во взгляде и улыбке оказались куда могущественнее вина, и я вскоре позабыл даже о злобной физиономии Мергаве. Мьибалозэ не скрывала своего расположения ко мне, и вскоре мы с ней уже общались на языке, не требовавшем перевода старого Ньигазы, под одобрительными взглядами всего собрания, за исключением Мергаве.

Наконец подошло время вечерних обрядов, и Мьибалозэ вышла, сказав мне, что мы встретимся с ней позже в храме. Гости начали расходиться, и Ньигаза повел меня через ночное селение, жители которого пировали и веселились у костров на открытом воздухе. Путь к храму Ванары лежал через джунгли, полные голосов и мелькающих теней. Я понятия не имел, как выглядит храм, хотя отчего-то не ожидал увидеть обычное африканское капище. К моему удивлению, мы пришли к огромной пещере в склоне холма позади деревни, освещенной множеством факелов и уже заполненной поклоняющимися богине. В глубине громадного зала, в непроницаемой тени, на своеобразном естественном возвышении стояло изображение Ванары, вырезанное из обычного для Азомбеи черного дерева, чуть больше натуральной величины. Рядом с ним в деревянном кресле, в котором вполне мог бы поместиться еще один человек, сидела Мьибалозэ, статная и неподвижная, словно само изваяние богини. На низком алтаре тлели ароматные листья и травы, а во мраке позади богини и ее смертной наместницы слышался грохот тамтамов, ритмичный, как чувственный пульс. Все жрецы, жрицы и приверженцы богини были обнажены, за исключением такого же, как у Мьибалозэ, маленького квадрата ткани, и тела их блестели, словно полированный металл, в мерцающих отсветах факелов. Все они пели монотонную торжественную литанию, медленно покачиваясь в священном танце и воздевая руки к Ванаре, будто прося ее благословения.

Впечатляющее зрелище настолько меня захватило, что я пришел в странное возбуждение, будто священная страсть поклонников Ванары каким-то образом проникла мне в кровь. Глядя на Мьибалозэ, которая, казалось, пребывала в неподдельном трансе, не замечая происходящего вокруг, я вдруг ощутил нахлынувшие на меня атавистические инстинкты, варварские страсти и предрассудки, прежде дремавшие в глубинах сознания. Я понял, что еще немного, и меня охватит дикая истерия, полная животной похоти и религиозного экстаза.

Рядом вдруг вынырнул из толпы старый переводчик и сказал, что Мьибалозэ просит меня занять место рядом с ней. Я не представлял, каким образом была передана эта просьба, поскольку губы девушки, с которой я не сводил страстного взгляда, ни разу не раскрылись и не шевельнулись. Поклонники богини расступились, и я предстал перед Мьибалозэ, дрожа от благоговейного трепета и неодолимого желания, и встретился взглядом с ее глазами, наполненными торжественной одержимостью любовного божества. Она дала мне знак сесть рядом –

как я позже узнал, тем самым она выбирала меня перед всем миром себе в супруги, и я, приняв приглашение, становился ее официальным возлюбленным.

Словно по некоему сигналу, каковым стало мое восшествие на трон Мьибалозэ, обряд превратился в оргию, о каковой я могу говорить лишь намеками. От того, что там творилось, покраснел бы и Тиберий, а Элефантида узнала бы от этих дикарей не один новый секрет. Пещера превратилась в сцену разнузданных наслаждений, и вскоре все позабыли как о богине, так и о ее наместнице, предаваясь занятиям, которые здесь, несомненно, воспринимались как вполне приемлемые, учитывая сущность Ванары, хотя любой цивилизованный человек счел бы их крайне непристойными. Все это время Мьибалозэ продолжала сидеть неподвижно, широко раскрыв немигающие, точно у статуи, глаза. Наконец она встала и, окинув пещеру загадочным взглядом, сдержанно улыбнулась мне и поманила за собой. Никем не замеченные, мы покинули оргию и вышли в открытые джунгли, где под тропическими звездами веял теплый ароматный ветерок...

С той ночи для меня началась новая жизнь – жизнь, которую я не стану пытаться оправдать, но лишь опишу в той степени, в какой она вообще поддается описанию. Со мной никогда еще не бывало ничего подобного, и я не мог даже представить, что способен на столь чувственную страсть, какую я питал к Мьибалозэ, и на столь неопишуемые ощущения, которые вызывала у меня ее любовь. Темная возбуждающая энергия самой земли, по которой я ступал, влажная теплота воздуха, буйная растительная жизнь – все это стало интимной составляющей моего собственного естества, смешавшись с приливами и отливами крови в моих жилах, и я, как никогда до тех пор, приблизился к тайне очарования, что манило меня через всю планету к этому загадочному континенту. Мощная страсть обострила все мои чувства, погрузив мой разум в состояние глубокой праздности. Я ощущал, что живу, как не жил никогда прежде, и не буду так жить никогда вновь – используя все свои телесные способности. Я познал, подобно любому аборигену, мистическое влияние запаха, цвета, вкуса и тактильных ощущений. Посредством плоти Мьибалозэ я дотрагивался до первобытной реальности физического мира. У меня не осталось ни мыслей, ни даже грез в абстрактном понимании этих слов – я полностью погрузился в окружающую среду, в смену дня и ночи, сна и страсти, и всех чувственных ощущений.

Мьибалозэ, безусловно, была прелестна и своим очарованием, пусть и весьма сладострастным, была обязана не только собственному телу. Она обладала чистым и простодушным нравом, смеялась ласково и по-доброму, и в ней не чувствовалось свойственной всем африканцам явной или подспудной жестокости. Я каждый раз находил в ней, помимо ее черт и форм, сладостное напоминание о старом языческом мире, намек на женщину классической эпохи и богиню из древних мифов. Возможно, колдовство ее было не слишком сложным, но власть его оказалась неоспоримой и не поддавалась ни анализу, ни опровержению. Я стал восторженным рабом любящей и снисходительной королевы.

Уже расцвели цветы экваториальной весны, и наши ночи были наполнены их наркотически чувственными ароматами. В небе сияли жгучие звезды и благосклонно светила луна, а народ Азомбеи одобрительно взирал на нашу любовь, ибо воля Мьибалозэ была для них волей богини.

Лишь одна туча, которую мы сперва едва замечали, омрачала наш небосклон. Этой тучей была ревность и недоброжелательность Мергаве, верховного жреца Ванары. Каждый раз, когда я его встречал, взгляд его пылал яростью, и всем своим видом он напоминал угрюмого негритянского Сатану, но никак более не проявлял своей злобы, ни словом, ни делом. Ньигаза и Мьибалозэ заверяли меня, что вряд ли стоит ожидать от него враждебных действий, поскольку, учитывая божественное положение Мьибалозэ и меня как ее возлюбленного, любой подобный поступок отдавал бы святотатством.

Что касается меня, я интуитивно не доверял шаману, хотя, пребывая на седьмом небе от счастья, не особо задумывался о его возможной мести. Но он был интересен сам по себе, как человек, и к тому же пользовался в племени репутацией настоящего колдуна. Жители селения верили, что он понимает язык животных и способен даже общаться с деревьями и камнями, снабжавшими его любыми необходимыми сведениями. Его считали мастером так называемого дурного фетиша – якобы он мог наложить злые чары на навлекшего его вражду человека или его имущество. Он практиковал обряд инвольтации, а также, по слухам, владел секретом жуткого медленного яда, жертвы которого увядали и сохли до размеров новорожденного, испытывая при этом долгие адские мучения, – яда, что начинал действовать лишь спустя недели или даже месяцы после принятия.

Шли дни, и я потерял им счет, в полной мере осознавая лишь те часы, что проводил с Мьибалозэ. Весь мир принадлежал нам одним: глубокая синева небес, цветущие леса и травянистые луга на берегу реки. Как и большинство влюбленных, мы отыскивали для себя не одно укромное местечко, где нам нравилось прятаться от посторонних глаз. Одним из таких мест стал грот позади пещерного храма Ванары, в центре которого находился большой пруд, питаемый водами реки Бенуэ через подземные каналы. Когда-то давно свод грота обвалился, оставив после себя обрамленное пальмами отверстие на вершине холма, сквозь которое на темную поверхность пруда падал свет солнца или луны. По краям грота располагались многочисленные широкие уступы и фантастические ниши среди каменных колонн. Привлеченные странным очарованием этого места, мы с Мьибалозэ проводили много часов при лунном свете на подобных ложах каменных полках над прудом, в котором обитали несколько крокодилов. Но мы почти не обращали на них внимания, полностью поглощенные друг другом и загадочной красотой грота, по стенам которого в переменчивом свете неслышно перемещались тени.

Однажды Мьибалозэ пришлось отправиться за пределы селения по какому-то делу – не помню сейчас, по какому именно, но, скорее всего, касавшемуся решения некоего спора или местных политических проблем. Так или иначе, вернуться она должна была лишь к следующему полудню, и я весьма удивился, когда вечером ко мне явился посыльный с известием, что Мьибалозэ возвратится раньше, чем предполагалось, и что она просит меня встретиться с ней в гроте позади пещеры Ванары в час, когда в отверстие наверху упадут первые лучи растущей луны. Туземца, который принес известие, я никогда прежде не видел, но ничего не заподозрил, поскольку он заявил, что пришел из дальней деревни, куда вызвали Мьибалозэ.

Добравшись в назначенное время до пещеры, я остановился на краю одного из уступов, в полумраке оглядываясь в поисках Мьибалозэ. Лунный свет едва проник внутрь через неровный край дыры в своде грота. Я заметил неслышно скользнувшего в серебристо-черной воде крокодила, но Мьибалозэ нигде не было видно. Подумав, что ей из озорства пришло в голову спрятаться от меня, я решил на цыпочках обыскать каменные ниши и полки и застигнуть ее врасплох.

Я уже собирался сойти с уступа, когда вдруг ощутил сильный толчок в спину и, не удержавшись на ногах, полетел в черный пруд с высоты в семь или восемь футов. Пруд оказался глубоким, и я погрузился почти до дна, прежде чем сообразил, что происходит. Я вынырнул и вслепую устремился к берегу, с ужасом вспоминая крокодила, которого видел за миг до падения. Мне удалось добраться до края там, где тот уходил в воду под приемлемым углом, но до дна все равно было не достать, а пальцы скользили по гладкому камню. За моей спиной послышался тихий всплеск, и я слишком хорошо знал, что послужило тому причиной... Обернувшись, я увидел двух скользивших в мою сторону больших ящеров; их глаза дьявольски мерцали в лунном свете.

Видимо, я закричал, поскольку, словно в ответ, с уступа наверху раздался женский крик, а затем подернувшуюся рябью воду рассекла мелькнувшая в воздухе черная молния. Вода на мгновение вспенилась, и рядом со мной появились хорошо знакомая мне голова и рука, жи-

мавшая блестящий нож. Со сверхъестественной ловкостью Мьибалое вонзила нож по рукоятку в бок ближайшего крокодила, уже разинувшего громадную пасть. Удар пришелся в сердце, и крокодил вновь погрузился под воду, извиваясь в агонии. Второй крокодил не собирался оставиваться и разделил судьбу собрата, встретившись с точным ударом ножа Мьибалое. Вода в пруду забурлила, и в нем замелькали темные тела других рептилий. Проявив чудеса гибкости, Мьибалое одним движением выбралась на прибрежные камни и схватила меня за руки. В следующий миг я уже стоял рядом с ней, с трудом понимая, как я там оказался, – столь легко и быстро все произошло. Оглянувшись, я увидел морды крокодилов: те обнюхивали берег под нами.

Запыхавшиеся и промокшие, мы уселись на освещенный луной каменный уступ и начали расспрашивать друг друга, время от времени прерываясь на нежные ласки. За несколько недель я сумел неплохо выучить язык азомбейцев, и в переводчике мы больше не нуждались.

К моему удивлению, Мьибалое заявила, что никакого гонца ко мне в тот вечер не послала. Вернулась она из-за того, что ее охватило предчувствие некоей угрожающей мне неотвратимой опасности, которое неумолимо влекло ее в грот, и она появилась там как раз в тот момент, когда я барахтался в пруду. Проходя через пещеру Ванары, откуда в грот вел низкий туннель, она встретила в темноте какого-то мужчину и решила, что это, скорее всего, Мергаве. Он прошел мимо нее молча, столь же поспешно, как и она сама. Я рассказал ей о толчке в спину, который получил, стоя на уступе. Стало ясно, что меня заманил в грот некто, желавший от меня избавиться, а насколько нам было известно, ни у кого в Азомбее не имелось подобных мотивов, за исключением Мергаве. Мьибалое посерьезнела, и больше мы на эту тему не говорили.

Когда мы вернулись в селение, Мьибалое послала нескольких мужчин найти Мергаве и доставить его к ней. Но колдун исчез, и никто не знал, где он, хотя многие видели его тем вечером. Не вернулся он и наутро, и, несмотря на организованные по всей Азомбее тщательные поиски, не удалось найти никаких его следов и в последующие дни. Естественно, само его исчезновение было воспринято как неявное признание вины. Известие о случившемся в гроте вызвало всеобщее негодование, и, несмотря на страх перед колдуном, его готовы были в буквальном смысле разорвать на части, если бы он осмелился появиться среди соплеменников. Вряд ли даже понадобился бы вынесенный ему Мьибалое смертный приговор.

Неожиданная страшная опасность и чудесное спасение благодаря Мьибалое еще сильнее сблизили нас, и наша взаимная страсть обрела еще большую глубину. Но время шло, о Мергаве ничего не было слышно, словно его поглотили обширные и знойные безмолвные экваториальные просторы, и случившееся начало постепенно забываться. Пребывая в праздном блаженстве, мы перестали опасаться, что Мергаве снова попытается нам навредить. Казалось, счастье наше будет длиться вечно.

Однажды ночью жрецы Ванары устроили ужин в мою честь. В пиршественном зале недалеко от храма собрались сорок или пятьдесят человек, но Мьибалое еще не появилась. Пока мы ее ждали, вошел мужчина с большим калebasом пальмового вина. Человека этого я не знал, хотя он был знаком некоторым из присутствующих, они называли его по имени – Марвази.

Обратившись ко мне, Марвази объяснил, что его прислали жители дальней общины с даром в виде пальмового вина, которое, как они надеялись, я соблаговолю принять как супруг Мьибалое. Поблагодарив его, я попросил передать мои слова дарителям.

– Не попробуешь ли вино прямо сейчас? – спросил он. – Я должен незамедлительно вернуться, но мне хотелось бы знать, одобряешь ли ты его вкус, чтобы сообщить об этом моему народу.

Налив вина в чашу, я медленно выпил, пробуя на язык вкус и качество напитка. Вино оказалось сладким и густым, со своеобразным послевкусием раздражающей горечи, который не вполне мне понравился, но я все же похвалил вино, не желая обидеть Марвази. С явным

удовольствием улыбнувшись в ответ, он уже собрался уходить, когда появилась Мьибалоз. Она тяжело дышала, лицо ее было мрачно, в глазах пылал странный огонь. Бросившись ко мне, она выхватила пустую чашу из моих пальцев.

– Ты выпил?! – скорее утвердительно воскликнула она.

– Да, – в замешательстве ответил я.

Взгляд, с которым она повернулась ко мне, был неопишем и полон противоречивых чувств – в нем смешались ужас, страдание, преданность, любовь и ярость, но отчего-то я понял, что ярость эта адресована не мне. Посмотрев мне прямо в глаза, она повернулась к Марвази и велела жрецам Ванары схватить его и связать. Приказ был немедленно исполнен. Ничего не объясняя и не говоря больше ни слова, Мьибалоз налила себе чашу пальмового вина и выпила ее одним глотком. Уже заподозрив страшную правду, я хотел выхватить чашу из ее руки, но Мьибалоз оказалась проворнее.

– Теперь мы оба умрем, – сказала она, осушив чашу.

Безмятежно улыбнувшись мне, она перевела взгляд на Марвази и преобразилась в карающую богиню. Все присутствующие уже поняли, что произошло, и со всех сторон послышался ропот, полный ужаса и гнева. Жрецы растерзали бы Марвази голыми руками, отделяя конечность за конечностью, сустав за суставом, мышцу за мышцей, если бы не вмешательство Мьибалоз, велевшей им подождать. Охваченный ужасом, Марвази съежился среди державших его жрецов, прекрасно понимая, какая судьба его ждет, несмотря на кратковременную отсрочку.

Мьибалоз начала допрашивать его, отрывисто и сурово, и Марвази, трепетавший перед ней еще сильнее, чем перед жрецами, запинаясь и лебезя, признался, что вино было отравлено и что его, Марвази, нанял колдун и верховный жрец Мергаве, велев преподнести вино мне и по возможности убедиться, что я сразу же его выпью. По словам Марвази, колдун не одну неделю скрывался в лесу на границах Азомбеи, живя в тайной пещере, известной лишь ему и немногим его сторонникам, приносящим для него еду и новости, которые он желал узнать. К числу этих сторонников принадлежал и Марвази, который был чем-то обязан Мергаве, и тот не раз использовал его в качестве своего орудия.

– Где сейчас Мергаве? – спросила Мьибалоз.

Марвази замялся, но хватило всего лишь одного пылающего гневом, гипнотизирующего взгляда правительницы, чтобы правда тут же сорвалась с его губ. По его словам, Мергаве прятался в окрестностях селения, в джунглях, ожидая подтверждения, что его намеченная жертва выпила яд.

Часть жрецов тут же отправилась на поиски Мергаве. Пока они отсутствовали, Мьибалоз рассказала мне, что о планах отравить меня ей сообщил другой приспешник Мергаве, которого в последний момент привела в ужас чудовищная жестокость и дерзость задуманного.

Вскоре вернулись жрецы, ведя с собой плененного колдуна. Им удалось застигнуть его врасплох, и, хотя он сражался как демон, его сумели повалить и связать ремнями из шкуры носорога. В тишине, проникнутой леденящим ужасом, его ввели в пиршественный зал.

Хотя колдуну не приходилось ожидать ничего хорошего, лицо его наполнилось злобным торжеством. Он стоял перед нами, гордо выпрямившись и ничем не показывая страха; лицо его пылало сатанинской одержимостью и мрачным ликованием. Прежде чем Мьибалоз успела к нему обратиться, он начал изливать поток чудовищных признаний, перемежавшихся проклятиями и бранью. Он рассказал, как готовил яд, перечислив все жуткие ингредиенты, которые вошли в его состав, а также медленно пропетые заклинания, смертоносные знаки и множество могущественных амулетов, которые помогали ему в создании зелья. Затем он описал действие яда – первые месяцы, во время которых нам с Мьибалоз предстояло несчетное число раз мысленно переживать смерть в ожидании, когда начнутся отложенные мучения, а затем и сами эти нескончаемые муки, медленное и отвратительное увядание всех наших тканей и органов, иссыкание самих источников жизни и уменьшение тела до размеров ребенка или даже

новорожденного, прежде чем наконец вместе со смертью наступит избавление. Позабыв обо всем, кроме своей безумной ненависти и бессмысленной ревности, он повторял кошмарные подробности раз за разом, со столь чудовищным злорадством и восторженным наслаждением, что собравшихся будто парализовало заклятием, и никто не шагнул вперед, чтобы заставить его замолчать с помощью ножа или копья.

Наконец, пока колдун продолжал свои чудовищные словоизлияния, Мьибалоз снова наполнила чашу отравленным вином. Жрецы разжали зубы Мергаве остриями копий, и она влила вино ему в глотку. То ли не сознавая собственной судьбы, то ли презирая ее, он не дрогнул, подобно черному демону, который торжествует над обреченными, пусть даже и сам входит в их число. Марвази тоже заставили выпить вино, и он закричал от ужаса, пуская пену изо рта, когда смертельный напиток коснулся его языка. Затем обоих по приказу Мьибалоз увели и посадили под замок, оставив под надежной охраной, пока не подействует яд. Но позже, ночью, когда об их деяниях стало известно остальным жителям селения, толпа разозленных сверх всякой меры мужчин и женщин скрутила охрану и унесла Марвази и Мергаве в грот за пещерой Ванары, где их бросили, словно падаль, в черный пруд с крокодилами.

Отныне для нас с Мьибалоз жизнь превратилась в неопиcуемый кошмар. От прежних радостных и счастливых дней не осталось и следа, на нас опустилась черная пелена, подобная тени, что отбрасывает гигантская стая стервятников. Да, любовь наша осталась прежней, но нам казалось, будто она уже уходит в зловещий мрак и небытие могилы... Впрочем, об этом я не стану рассказывать, хотя поведал уже немало... Настолько это было для нас священо и настолько ужасно...

После череды траурных дней под небесами, что для нас лишились самой своей лазури, мы с Мьибалоз уговорились, что я должен покинуть Азомбею и вернуться в свою родную страну. Мы оба не могли вынести даже мысли о том, что придется день за днем наблюдать страшные мучения и постепенное увядание другого, когда начнет действовать яд Мергаве. О нашем прощании могу лишь сказать, что оно было полно бескрайней печали. Даже в самых страшных муках и беспорядочном бреде я всегда буду помнить любовь и грусть в глазах Мьибалоз. На прощание она подарила мне маленькую фигурку Ванары, о которой ты так часто меня спрашивал.

Вряд ли стоит описывать подробности моего возвращения в Америку. Сейчас, после нескольких немилосердных месяцев отсрочки, не принесших мне ни малейшего облегчения, я чувствую первые симптомы действия яда, тошнотворное ожидание кошмарных дней и бессонных ночей заканчивается. Я знаю, что мне предстоит, и мне обжигает душу мысль о том, что те же самые муки сейчас переживает Мьибалоз. Пожалуй, я уже завидую смерти Марвази и Мергаве в пруду с крокодилами...

Рассказ Сатампры Зейроса

Я, Сатампра Зейрос из Узулдарума, напишу левой рукой историю о том, что случилось со мной и Тирувом Омпаллиосом в заросшем джунглями и забытом почитателями храма бога Цатогуа под Коммориомом, древней столицей правителей Гипербореи, потому что правой у меня больше нет. Я напишу ее фиолетовым соком пальмы сувана, что с годами делает строчки алыми, словно кровь, на прочном пергаменте из шкуры мастодонта, как предупреждение всем добрым вора и искателям приключений, которых в будущем поманят лживые легенды о сокровищах Коммориома.

Тирув Омпаллиос был моим закадычным приятелем и верным товарищем во всех предприятиях, которые требовали ловкости пальцев, а также прыткости и проворства. Скажу без ложной скромности, что не раз нам доводилось проворачивать дела, перед которыми пасовали наши более знаменитые товарищи. К примеру, похищение драгоценностей королевы Кунамбри, которые хранились в комнате, где вольно бродили две дюжины ядовитых рептилий, или взлом несокрушимой шкатулки Акроми, где лежали все медали древних династий властителей Гипербореи. Сказать по правде, сбыть эти медали оказалось непросто, и нам пришлось по дешевке загнать их капитану варварского судна из далекой Лемурии: и все же взлом той шкатулки был славным деянием, если учесть, что работать пришлось в полной тишине, ибо рядом притаилась дюжина стражников с трезубцами. Мы использовали редкую разъедающую кислоту... однако я заболтался; впрочем, стоит ли этому удивляться – соблазн предаться героическим воспоминаниям о славных деяниях прошлого слишком велик.

В нашем деле, как, впрочем, и во всех других, порой приходится учитывать превратности судьбы, и богиня удачи не всегда к нам благосклонна. Случилось так, что во времена, о которых я повествую, мы с Тирувом Омпаллиосом изрядно истощили свои запасы и, хотя обычно такое положение длилось недолго, пребывали в крайней нужде, что и хлопотно, и досадно, ибо мы знавали дни побогаче и ночи поприбыльней. Нынче злые люди глаз не спускают со своего имущества, запирают окна и двери новыми хитроумными запорами, а стражники стали бдительнее и редко спят на посту – иными словами, трудности, с которыми сталкиваются те, кто практикует наше ремесло, возросли многократно. Нам ничего не оставалось, как обратить свой взор к предметам более объемным, но менее ценным, да и ради них приходилось попотеть. Даже сейчас унизительно вспоминать ночь, когда нас чуть не поймали с мешком красного ямса; я упоминаю об этом, чтобы не показаться излишне хвастливым.

Однажды вечером в одном из бедных кварталов Узулдарума мы вывернули карманы и обнаружили, что на двоих у нас всего три пазура – хватит на большую бутылку гранатового вина или две буханки хлеба. Мы принялись спорить, как потратить деньги.

– Хлеб, – настаивал Тирув Омпаллиос, – насытит наши тела, вернет проворство в усталые конечности и натруженные пальцы.

– Гранатовое вино, – возражал я, – пробудит наш разум, и, возможно, подарит нам озарение, которое подскажет выход из теперешних невзгод.

Без дальнейших препирательств Тирув Омпаллиос согласился с моей несомненной правотой, и мы принялись искать ближайшую таверну. По вкусу вино оказалось не из лучших, но достаточно крепким, и его было вдоволь, а большего нам не требовалось. Мы сидели в переполненной таверне и лениво цедили его, пока пламя, тлевшее внутри прозрачной алой жидкости, не охватило наш разум. Сомнительное и туманное будущее озарили розовые светильники, и жизненные невзгоды волшебным образом отступили. А вскоре меня озарило.

– Тирув Омпаллиос, – промолвил я, – назови мне хоть одну причину, почему мы, люди храбрые и не разделяющие предрассудков и страхов презренной толпы, не могли бы поживиться сокровищами Коммориома? День пути от этого тоскливого города, приятная прогулка

по сельской местности, вечер или ночь, проведенные за археологическими раскопками, – и кто знает, что мы там обнаружим?

– Ты говоришь умно и смело, мой дорогой друг, – отвечал Тирув Омпалиос. – И впрямь, не вижу никаких оснований не пополнить наши истощившиеся запасы за счет мертвых правителей и богов.

Как всем известно, много столетий назад Коммориом опустел из-за пророчества Белой сивиллы из Полариона, предсказавшей неисчислимые и неопишуемые бедствия, что падут на головы смертных созданий, которые посмеют там остаться. Одни говорили, что речь идет о чуме, которую занесут в город с северных пустошей живущие в джунглях племена; другие твердили о всеобщем безумии. Как бы то ни было, никто – ни царь, ни жрец, ни купец, ни работник, ни вор – не стал ждать надвигающихся бедствий. Недолго думая, все как один снялись с места, основали новую столицу в дне пути от старой и назвали ее Узулдарумом. Ходили странные слухи о страхах и ужасах, которых человеку не преодолеть; о жути, что населяет святыни, мавзолеи и дворцы Коммориома, все так же стоящего в плодородной гиперборейской долине в сиянии великолепного мрамора и гранита, и могучие деревья не могут перерасти его шпилей, куполов и обелисков. Говорили, что в его нетронутых склепах лежат сокровища древних правителей, внутри высоких гробниц мумии хранят самоцветы и золотые самородки, в храмах стоят золотые алтарные сосуды, а в ушах, ртах, ноздрях и пупках идолов сияют драгоценные камни.

Думаю, мы выступили бы в тот же вечер, распей мы еще бутылку гранатового вина, но вышло так, что мы решили выйти на рассвете. Мы отправлялись в путь налегке, но это нас не заботило – если мы не утратили нашей ловкости, то легко сумеем разжиться съестным, обирая бесхитростных поселян. А пока мы отправились домой, где нас неласково встретил хозяин и, не стесняясь в выражениях, потребовал плату за постой. Однако нас, витавших в облаках, было не запугать, и мы лишь с презрением от него отмахнулись, чем если не убедили его, то изрядно удивили.

Проспали мы долго, солнце успело забраться высоко на лазурный небосклон, когда мы вышли за ворота Узулдарума и свернули на север в направлении Коммориома. Мы плотно позавтракали янтарными дынями и украденной курицей, которую пожарили в лесу, после чего отправились дальше. Несмотря на усталость, что настигла нас к вечеру, путешествие было не лишено приятности, и по пути мы не упускали возможности исследовать окружающие ландшафты и населявших их местных жителей. Боюсь, некоторые из них до сих пор вспоминают о нас с сожалением, ибо мы не отказывали себе ни в чем, что могло возбудить наш интерес или аппетит.

То была славная местность, где на каждом шагу нас ждали фермы и сады, бегущие потоки и буйство лесной зелени. Ближе к вечеру мы набрали на древнюю заросшую дорогу, которой давно никто не пользовался и которая вела вглубь джунглей, окружавших Коммориом.

Никто не видел, как мы туда свернули, и никто не встретился нам на пути. Один шаг – и мы оказались за пределами человеческих познаний, а молчание леса вокруг нас было таким звонким, будто нога смертного не ступала на эту дорогу с тех пор, как много веков назад город покинул легендарный царь со своими подданными. Толстые стволы, подобных которым нам видеть не доводилось, словно древними паучьими сетями, оплетены были ползучими лианами не моложе, по-видимому, самих деревьев. Цветы поражали нездоровыми размерами; их лепестки были белыми, как смерть, или алыми, словно кровь, а ароматы удушливо-сладкими или зловонными. Плоды на деревьях тоже были гигантские – багровые, оранжевые и красно-коричневые, – однако что-то мешало нам их сорвать.

По мере нашего продвижения лес становился гуще, растительность пышнее, а между широкими плитами, которыми была вымощена дорога, расталкивая их, пробивались древесные корни. Хотя солнце еще не село, тени от гигантских стволов и сучьев сгустились, и мы

шагали в темно-зеленом сумраке, наполненном тяжелыми ароматами гниющей растительности. Ни птиц, ни зверей, каких рассчитываешь встретить в обычном лесу, здесь не было, однако порой мы натыкались на свернувшихся бледными, тяжелыми кольцами змей, которые ускользали от нас в густой подлесок, или на громадных мотыльков причудливой и зловещей окраски, пролетающих прямо перед нами, прежде чем исчезнуть во мраке. Уже в полутьме огромные лиловые летучие мыши с крохотными рубиновыми глазками вспархивали над ядовитыми на вид фруктами, которыми лакомились, одаряя нас злобным взглядом и бесшумно кружа над нашими головами. Мы ощущали чье-то еще невидимое присутствие – за нами наблюдали; благоговейный страх и смутный ужас перед чудовищными джунглями заставили нас приумолкнуть, и теперь мы только изредка перешептывались.

Среди прочих вещей, которые нам удалось добыть за время прогулки, был бурдюк с пальмовым спиртом. Несколько глотков обжигающей жидкости изрядно скрасили тяготы пути, а теперь помогали удержать страх в узде. Каждый из нас хорошенько приложился к бурдюку, после чего джунгли показались нам уже не такими страшными, и мы искренне недоумевали, почему позволили молчанию и мраку, бдительным летучим мышам и нависшей над нами необъятности омрачить наш дух; по-моему, после второго глотка мы запели.

Когда на лес опустились сумерки и восковая луна взошла на небосклон, сменив дневное светило, мы так прониклись духом приключений, что решили не останавливаться и достичь Коммориома той же ночью. Мы закусили едой, которую позаимствовали у местных, и несколько раз приложились к бурдюку. Затем, хорошенько взбодрившись, переполненные отвагой и желанием завершить наше благородное предприятие, снова двинулись в путь.

Идти пришлось недолго. Обсуждая с пылом, заставлявшим забыть о тяготах пути, какая добыча среди таинственных сокровищ Коммориома первой угодит к нам в руки, мы сначала заметили над верхушками деревьев в лунном свете мраморные купола, затем между стволами замаячили колонны тенистых портиков. Еще несколько шагов – и мы наткнулись на мощные улицы, уводящие вглубь дикого леса, где чудовищных размеров пальмовые листья шелестели над древними крышами.

Мы остановились, и снова тишина древнего запустения запечатала наши уста, ибо дома были мертвы и белы, как могилы, а глубокие тени, которые их окружали, – холодны, зловещи и таинственны, словно смертная тень. Казалось, что солнце веками не освещало этих стен, что ничего теплее мертвенного лунного света не касалось мрамора и гранита со времен, когда пророчество Белой сивиллы из Полариона стало причиной исхода и запустения.

– Жаль, что сейчас не белый день, – глухо и сипло пробормотал Тирув Омпалиос, и его слова в мертвой тишине прозвучали особенно громко.

– Тирув Омпалиос, – ответил я, – надеюсь, ты не пребываешь в плену суеверий. Не хочется думать, что ты поддался ребяческому фантазиям презренной толпы. А посему выпьем.

Мы изрядно опустошили бурдюк, ничуть не привередничая относительно букета, и так замечательно взбодрились, что отправились исследовать уходящую влево аллею, проложенную с математической точностью, но вскоре исчезающую среди пальмовых листьев. Здесь, на отшибе, на площади, которую пока что пощадили джунгли, мы обнаружили маленький храм древней архитектуры, который производил впечатление строения еще старше, чем соседние дома. Он также отличался от них материалом – то был темный базальт, почти скрывшийся под лишайниками, которые выглядели одного с ним возраста. Квадратный храм не имел ни куполов, ни шпилей, ни колонн у фасада – только несколько узких окон высоко над землей. В наши дни такие храмы в Гиперборее встретишь редко, однако мы признали в нем место поклонения Цатогуа, одному из божеств древних. В наши дни люди перестали возносить ему молитвы, но говорят, что перед его пепельными алтарями до сих пор кладут поклоны скрытные и свирепые лесные звери: порой обезьяна, громадный ленивец и длиннозубый тигр бессловесным ревом и воем славят забытое божество.

Храм, как и прочие строения, прекрасно сохранился: следы времени виднелись только на резной притолоке, расщепленной и раскрошившейся в нескольких местах. Сама дверь из позеленевшей от времени бронзы стояла слегка приоткрытая. При мысли о том, что внутри должен быть украшенный драгоценными камнями идол, не говоря о прочих алтарных безделушках из драгоценных металлов, нас одолел соблазн.

Подозревая, что открыть позеленевшую дверь будет непросто, мы глотнули пальмового спирта и приступили. Разумеется, петли проржавели, и только навалившись на дверь мускулистыми телами, мы умудрились сдвинуть ее с места. Мы удвоили усилия, и с ужасающим скрежетом и жутким скрипом, походившим на визг какого-то нечеловеческого создания, дверь медленно отворилась. Перед нами зиял черный провал внутреннего пространства храма, откуда доносился запах застоявшейся плесени, смешанный со странным, ни на что не похожим зловонием. Впрочем, в предвкушении богатой добычи мы стали нечувствительны к запахам.

С присущей мне предусмотрительностью я запасся куском смолистого дерева, решив, что из него можно соорудить факел, если придется бродить по ночному Коммориому. Теперь я этот факел зажег, и мы вошли в храм.

Пол покрывали огромные пятиугольные плиты из того же материала, что и стены. Храм был пуст, за исключением статуи божества, восседавшей в дальнем углу, металлического двухъярусного алтаря с непристойными рисунками и трехногой бронзовой чаши странной формы и огромного размера в центре. Не взглянув на чашу, мы бросились вперед, и я ткнул факелом прямо в лицо идолу.

Мне не доводилось раньше видеть статуи бога Цатоггуа, но я без труда узнал его по описаниям. Приземистый и толстобрюхий; голова больше напоминала жабы, чем голову божества; тело покрывал короткий мех, смутно похожий на мех летучей мыши или ленивца. Его круглые глаза были полуприкрыты, кончик языка торчал между толстыми губами. Сказать по правде, на доброе миловидное божество он никак не походил, и меня не удивило, что ему перестали приносить жертвы, – только жестокие дикари могли поклоняться такому уродцу.

Между тем Тирув Омпалиос и я принялись хором поносить более изящных и благородных богов, ибо на статуе не было ни единого завалящего полудрагоценного камушка. Со скупостью, превосходящей всякое понимание, даже глаза были вырезаны из того же камня, что и вся отвратительная фигура идола, а ее нос, глаза и прочие отверстия никто не озаботился украсить. Оставалось только изумляться алчности или бедности тех, кто создал это звероподобное чудовище.

Теперь, когда наши мысли больше не занимала надежда на мгновенное обогащение, мы решили оглядеться. В особенности нас поразило незнакомое зловоние, о котором я уже упоминал, только теперь оно усилилось. Исходило оно из бронзовой чаши, которую мы решили осмотреть, хотя едва ли ожидали, что такой осмотр доставит нам радость или принесет прибыль.

Чаша, как я сказал, была огромной – не менее шести футов в диаметре и трех в глубину, а ее край доходил высокому мужчине до плеча. Массивные резные ножки завершались кошачьими лапами с выпущенными когтями. Когда мы приблизились и заглянули через край, чаша оказалась заполнена вязкой полужастывшей субстанцией, черной и матовой, как сажа. Именно отсюда шел запах, непередаваемо отвратительный, однако то был не запах гниения – скорее вонь мерзкой и нечистой болотной твари. Терпеть эту вонь не было никаких сил, и мы бы отвернулись, но тут поверхность странной жидкости заволновалась, словно кто-то потревожил ее изнутри. Волнение усилилось, жидкость вспучилась в центре, словно под действием мощных дрожей, и, замерев от ужаса, мы увидели, как грубая, бесформенная голова с вытаращенными мутными глазами возникает на поверхности, вздымается над ней на постоянно удлиняющейся шее и вперивает в нас первобытно свирепый взгляд. Затем, дюйм за дюймом,

из жижи возникли руки – если их можно назвать руками, – и тут до нас дошло, что это не существо всплыло на поверхность жижи, а сама жижa обратилась омерзительной головой на ужасной шее, а сейчас вылепляет из себя отвратительные руки, которые тянутся к нам отростками, похожими на щупальца!

Ужас, какого мы не испытывали в ночных кошмарах и не чаяли испытать в наших самых рискованных ночных вылазках, лишил нас дара речи, но не способности двигаться. Мы отпрянули – и немедленно ужасная шея и руки потянулись вслед за нами. Затем черная жижa поднялась над ободом чаши и быстрее, чем сок пальмы суваны с моего пера, хлынула через край потоком черной ргути, а коснувшись пола, принялась извиваться, словно змея, выбросив больше дюжины коротеньких ножек.

Мы не стали гадать, что это за невообразимый протоплазменный ужас, что за мерзкое отродье первобытной слизи собиралось напасть на нас. Чудище было столь отвратительным, что долго раздумывать не приходилось; кроме того, его враждебные намерения и каннибальские наклонности были очевидны, поскольку оно устремилось к нам с невероятной быстротой и проворством, разинув беззубую пасть поразительной вместимости. Его язык разворачивался, точно кольца змеи, а челюсть распаивалась с такой же невообразимой гибкостью, какая была свойственна всем его движениям. Поняв, что медлить нельзя, и обернувшись спиной к мерзостям этой нечестивой святыни, мы одним прыжком перемахнули через порог и понеслись навстречу лунному свету по пригородам Коммориома. Мы заворачивали за все углы, петляли между дворцами забытых вельмож и складами купцов, чьи имена исчезли в веках; мы выбирали места, где самые мощные пальмы росли гуще всего; наконец на боковой тропинке, откуда уже не было видно окраинных домов, мы остановились и осмелились обернуться.

Наши перенапряженные легкие готовы были взорваться, усталость, накопившаяся за день, давила на плечи, но, когда мы увидели, что черное чудище наступает нам на пятки, передвигаясь волнообразно, словно змея, словно поток, что низвергается с высокого склона, наши ослабевшие конечности как по волшебству обрели новые силы; оставив тропу, мы в неверном лунном свете бросились напролом в непроходимые джунгли, надеясь затеряться в лабиринте стволов, лиан и гигантских листьев. Мы спотыкались о древесные корни и поваленные стволы, раздирали одежду, царапали кожу о колючую ежевику, натыкались во тьме на большие пни и гибкие молодые побеги, слышали шипение древесных змей, плевавших ядом с верхних веток, внимали бормотанию и вою невидимых зверей, но больше оборачиваться не смели.

Должно быть, мы скитались по джунглям много часов. Луна, с трудом пробиваясь сквозь густую листву, опускалась все ниже и ниже между гигантскими пальмовыми листьями и запутанными лианами. И все же ее последние лучи спасли нас от ядовитого болота, где поросшие травой кочки скрывали под собой трясину; в опасной близости от нее – прямо вдоль зловонного края – мы вынуждены были бежать, не оглядываясь и не разбирая дороги, а наш проклятый преследователь не отставал.

Теперь, когда луна зашла, наш бег стал хаотичнее – настоящее исступление ужаса, усталости, смятения и преодоления препятствий, которых мы уже не различали и не сознавали, сквозь ночь, что давила на нас тяжким грузом, опутывая, словно нити чудовищной паутины. Нам казалось, что злобное чудище с его невероятной скоростью и способностью удлиняться может схватить нас в любое мгновение, но, очевидно, оно хотело продолжить игру. И так, среди нескончаемых ужасов, ночь тянулась и тянулась... а мы всё не решались остановиться и оглянуться.

Вдали над деревьями забрезжил смутный рассвет – тайное предзнаменование утра. Смертельно усталые, жаждущие передышки и укрытия, пусть даже какой-нибудь неприметной гробницы, мы ринулись навстречу свету и тут же наткнулись на мошеную улицу, окруженную домами из мрамора и гранита. И далеко не сразу нас посетила смутная мысль, что мы сделали

круг и вернулись в пригород Коммориома. Перед нами, на расстоянии броска копья, высился мрачный храм Цатогуа.

И снова, все же осмелившись оглянуться, мы увидели позади гибкое чудище, чьи ноги так вытянулись, что теперь оно возвышалось над нами, а пасть стала такой широкой, что без труда поглотила бы нас обоих. Тварь с легкостью скользила вслед за нами, и на уме у нее было что-то невыносимо мерзкое. Мы вбежали в храм, дверь которого стояла открытой с тех пор, как мы оттуда выскочили, и, побуждаемые ужасом, с нечеловеческим усилием захлопнули ее за собой и даже умудрились задвинуть один ржавый засов.

Внутри, пока холодный ужас рассвета узкими полосами проникал сквозь высокие окна, мы с истинно героической покорностью попытались собраться с мыслями в ожидании того, что уготовила нам судьба. Все это время бог Цатогуа, сидя на корточках, пялился на нас с еще большей злобой и звериной жестокостью, чем когда мы впервые осветили его факелом.

Кажется, я уже упомянул, что дверная притолока была в нескольких местах повреждена. Больших отверстий было три, и через эти отверстия внутрь мог забраться небольшой зверек или заползти змея; сейчас сквозь отверстия в храм проникал дневной свет. Отчего-то наши глаза были прикованы к этим отверстиям.

Долго ждать не пришлось, ибо свет внезапно померк и черная материя начала сочиться сквозь отверстия внутрь храма; ручейки сливались на плитах пола, и вскоре перед нами снова предстал наш преследователь.

– Прощай, Тирув Омпалиос! – крикнул я, собрав последние силы, и бросился к статуе Цатогуа, который был достаточно велик, чтобы скрыть меня одного, но, к несчастью, двоим за ним было не спрятаться. Тирув Омпалиос мог бы опередить меня в похвальном стремлении спасти свою жизнь, но я оказался проворнее. Видя, что за спиной статуи места хватит только для одного, он попрощался со мной и забрался в бронзовую чашу, единственное оставшееся укрытие в пустом храме.

Из-за спины отвратительного божества, чьим единственным достоинством были громадное пузо и широкие ляжки, я наблюдал за чудищем. Не успел Тирув Омпалиос скорчиться на дне трехногой чаши, как безымянная мерзость, передвигавшаяся, словно столп, покрытый сажей, приблизилась к ней. Теперь его голова изменила форму и расположение и смутно маячила посреди туловища, лишённого рук, ног и шеи. На мгновение чудище нависло над краем чаши, опираясь на сужающееся книзу подобие хвоста, а затем волной обрушилось сверху на Тирува Омпалиоса. Казалось, все это черное туловище обратилось в одну громадную пасть.

Не смея дышать от ужаса, я ждал, но из чаши не доносилось ни звука, ни стопа. Весь трепеща, я осмелился осторожно выскользнуть из-за спины статуи и, на цыпочках миновав чашу, прокрался к двери.

Чтобы выбраться на свободу, мне оставалось только отодвинуть засов и открыть дверь. Я понимал, что придется пошуметь, и поэтому в великом страхе медлил. Я чувствовал, что верх неблагоразумия тревожить чудище, пока оно переваривает Тирува Омпалиоса, но если я хотел унести ноги из этого омерзительного храма, другого способа не было.

В то мгновение, когда я наконец дернул засов, из чаши стремительно выпросталось щупальце, протянулось через весь зал и обвилось вокруг моего запястья, вцепившись в него мертвой хваткой. Никогда еще мне не доводилось дотрагиваться до чего-нибудь подобного – щупальце было невыразимо вязким, липким и холодным, а еще отвратительно мягким, словно мерзкая болотная жижа, и острым, как наточенный клинок. Оно сжималось вокруг моего запястья, засасывая его в себя, и я заорал, ибо оно впилось в мою плоть, словно тиски. В отчаянной попытке спастись я распахнул дверь и упал на пороге. Мгновение слепящей боли – и я понял, что освободился от тисков. Опустив взгляд, я увидел, что руки у меня больше нет, остался лишь странный сухой обрубок; крови было совсем мало. Обернувшись, я увидел, что щупальце

свернулось и исчезло за ободом чаши вместе с моей рукой – довеском к тому, что осталось от Тирува Омпаллиоса.

Монстр из пророчества

Предисловие

Исчезновение никому не известного и предположительно малозначительного поэта, сколь бы удивительны или загадочны ни были обстоятельства, обычно не становится темой особого интереса и дебатов. Но случай, подробности которого я намерен изложить, далеко не обычен даже с точки зрения его мирских последствий: публикации «Оды Антаресу» Теофилуса Элвора в «Современной музе», похвальных отзывов от ряда влиятельных критиков и бесплодных усилий редактора и вышеупомянутых критиков разыскать Элвора или выяснить, что с ним случилось. Все это в итоге стало поводом для газетной сенсации, продлившейся семь дней, в течение которых первые полосы заполнялись заголовками разной величины шрифта. Выдвигалось множество разнообразных теорий со стороны репортеров, авторов передовиц, полиции, новоявленных поклонников Элвора, а также его домовладелицы. В числе прочего издатель также обнаружил три тома прежде непродаваемых стихов и столь же непродаваемое собрание рассказов, которые Элвор оставил в своем съемном жилище, и поэту была гарантирована пусть скромная, но растущая слава даже после того, как газеты переключили свое внимание на более свежие тайны.

О том, что случилось с Элвором, достоверно известно было крайне мало, и это оставляло место для практически любых возможных предположений. Поэт прибыл в Бруклин недавно и не успел обзавестись друзьями и сколько-нибудь заметным количеством знакомых; его домовладелица была единственной, кто мог хоть как-то пролить свет на происшедшее. Она заявила, что Элвор не имел возможности заплатить за комнату в течение двух предшествовавших его исчезновению недель и что он пребывал тогда в явной депрессии, становясь все бледнее, изнуреннее и истощеннее. Сама она, проявив к нему нечто вроде материнской доброты, вызванной его несчастным видом, не настаивала на уплате и даже несколько раз кормила его за собственным столом. Наиболее популярная и правдоподобная теория предполагала самоубийство, но ни в одном из безымянных тел, найденных в Бруклине или вытасканных из Ист-Ривер, не смогли опознать Элвора; к тому же не имелось никаких сведений о том, что кто-то похожий на него купил револьвер или флакон яда. Выдвигались также другие теории, будто он тайком ушел на каком-то трансокеанском судне, или нанялся по пьяни матросом, или просто ушел пешком из Бруклина либо уехал на товарном поезде, чтобы попытать счастья где-то еще. Ходили слухи, будто его видели в отдаленных местах, в Новом Орлеане, Мобиле, Чикаго, Сан-Франциско и даже Мехико-Сити; были также те, кто якобы обладал достоверными сведениями, что Элвор отправился в Перу с мыслью собрать материал для большой повествовательной поэмы из жизни инков. Ни одно подобное сообщение, впрочем, не поддавалось проверке, а поскольку поэт так и не вернулся, чтобы насладиться преимуществами своей быстро распространяющейся славы, и от него не поступило ни единой весточки, его исчезновение осталось неразгаданной тайной.

Воистину, во всем мире не нашлось бы никого, кто смог бы пролить свет на эту загадку. Правда о том, что случилось с Теофилусом Элвором, известна лишь жителям далекой планеты, чья связь с народами Земли редка и неясна.

I

Унылый промозглый день сменялся тусклыми сумерками, когда Теофилус Элвор остановился на Бруклинском мосту, с содроганием глядя вниз, на скрытую туманом реку, преисполненный пугающих предчувствий. Он думал о том, каково это – броситься в холодную мутную воду и сумеет ли он набраться смелости, чтобы совершить поступок, который, как он себя убедил, равно неизбежен и достоин похвалы. Элвору казалось, что он слишком слаб, болен и душевно сломлен, чтобы и дальше влачить свое жалкое существование, похожее на дурной сон.

Причин для депрессии у Элвора имелось в избытке. Юношей, полным неугасимых мечтаний и устремлений, он приехал три месяца назад из дальней провинции в Бруклин, надеясь опубликовать свои творения; но его старомодные классические стихи, несмотря на пылавший в них огонь воображения – а может быть, именно поэтому, – единогласно отвергались как журналами, так и книгоиздателями. Последнюю его литературную надежду, томик фантастических рассказов, которые он написал после приезда в Бруклин, с неприятной поспешностью вернуло ему издательство, которое он считал самым вероятным из всех возможных спонсоров. Хотя Элвор жил весьма экономно и выбрал себе крайне скромное жилье, напоминавшее пресловутую «лачугу бедного поэта», его небольшие сбережения в конце концов иссякли. Он не только остался без гроша, но и одежда его износилась настолько, что он уже не мог появляться в редакциях, а подошвы его ботинок быстро превращались в ничто от постоянных пеших прогулок. Он уже несколько дней не ел, а последний его ужин, как и несколько предыдущих, оплатила его добросердечная домовладелица-ирландка. После многих часов беспечных одиноких блужданий по затянутым туманом улицам он оказался за несколько миль от своего жилья и теперь готов был принять решение больше туда не возвращаться.

По многим причинам Элвор предпочел бы иную смерть, нежели утопление. Грязная ледяная вода с эстетической точки зрения выглядела совершенно непривлекательной, и к тому же, несмотря на все то, что ему доводилось слышать, он не верил, что подобная смерть может быть приятной и безболезненной. Будь у него возможность, он выбрал бы превосходный восточный опиат, что дарует коварную дрему и проводил бы его через царства великолепных грез в нежные ночные объятия окончательного забвения... Подошел бы и милосердно быстрый смертельный яд. Но человеку с пустым кошельком подобные средства ухода в Лету недоступны.

Проклиная себя за то, что не догадался приберечь денег на подобный случай, Элвор продолжал стоять, дрожа на окутанном сумерками мосту и глядя то на унылые воды, то в не менее унылый туман, сквозь который смутно просвечивали городские огни. А затем, повинуясь привычке сельского жителя, который при этом обладает богатым воображением и во всем старается отыскать прекрасное, он взглянул на небо над городом в надежде увидеть звезды. Он вспоминал свою недавнюю «Оду Антаресу», которая, в отличие от более ранних его творений, была написана белым стихом, соединяя в себе модернистскую иронию и пышную, изобильную лиричность. Он надеялся, что ее примут в «Современную музу», но, за много недель не получив никакого ответа, с язвительным пессимизмом счел, что его творение давно отправилось в редакторскую мусорную корзину. И теперь с иронией куда горше, нежели та, что он вложил в свою оду, Элвор высматривал красную искорку Антареса, но не мог найти ее в пропитанном влагой небе. В конце концов его взгляд и мысли вернулись к реке.

– Это вовсе ни к чему, мой юный друг, – вдруг раздался рядом чей-то голос.

Элвора застигли врасплох не только слова, выдававшие проницательность говорившего, но и нечто непостижимо странное в самом его голосе. В изысканно-властном тоне звучали некие не поддающиеся описанию нотки – Элвор не мог подобрать для них иных слов, кроме как «металлические» и «нечеловеческие». В то время как разум его боролся с потоком быстро сме-

нявших друг друга захватывающих фантазий, Элвор повернулся, чтобы посмотреть на обратившегося к нему незнакомца.

В человеке, одетом по последней моде, в длинном пальто и при цилиндре, Элвор не заметил ничего необычайного или непропорционального. В чертах незнакомца тоже не было ничего особенного, насколько удавалось разглядеть в полумраке, за исключением горящих глаз с тяжелыми веками, точно у ночного зверя. Но от него веяло чем-то непостижимо странным, экстравагантным и далеким – ощущение явственнее, чем любое впечатление от вида, запаха или голоса, почти осязаемое в своей насыщенности. Уже тогда, при их первой встрече в сумерках, Элвор ощутил смешанный со страхом благоговейный трепет перед незнакомцем, в котором на вид не было ничего особо выдающегося, кроме отдававшего металлом голоса и светящихся глаз.

– Повторяю, – продолжал незнакомец, – тебе вовсе нет необходимости топиться в этой реке. Тебя может ждать совершенно иная судьба, если ты ее выберешь... А пока что я буду крайне признателен, если ты составишь мне компанию по пути к моему дому совсем недалеко отсюда.

От изумления лишившись способности аналитически мыслить, даже не отдавая себе отчета в том, что происходит и куда он идет, Элвор послушно последовал за незнакомцем, что могло бы удивить даже его самого, если бы у него еще оставалась способность удивляться. Несколько кварталов в клубящемся тумане они прошли в молчании. Затем незнакомец остановился перед темным особняком.

– Я живу здесь, – сказал он, поднимаясь по ступеням и отпирая дверь. – Не соизволишь ли войти?

Включив свет, он пропустил Элвора вперед. Войдя, тот увидел, что находится в холле старого дома, в свое время явно претендовавшего на аристократическое достоинство, судя по редкостным и роскошным старинным стенным панелям, ковру и мебели.

Хозяин провел Элвора в библиотеку, обставленную мебелью почти той же мифической эпохи, что и холл. Помещение было до потолка забито бесчисленными книгами. Предложив поэту сесть, незнакомец налил маленький бокал золотистой жидкости и подал гостю. В бокале был бенедиктин, и мягкое тепло ароматного напитка показалось Элвору воистину магическим. Вся слабость и усталость рассеялись, словно туман, как и умственное смятение, в котором он пребывал, сопровождая своего благодетеля.

– Отдыхай, – велел хозяин и вышел.

Элвор всецело отдался роскоши просторного кресла, пока мысли его были заняты всевозможными предположениями и догадками. Ни к какому выводу прийти не удавалось, но с каждым мгновением его посещали все более дикие мысли, и он чувствовал, что во всем происходящем есть элемент некоей единственной в своем роде тайны. Его первые впечатления о незнакомце на мгновение усилились, хотя и без явной на то причины.

Хозяин вернулся через несколько минут.

– Не пройдешь ли в столовую? – предложил он. – Я знаю, ты голоден, и заказал для тебя еды. Потом поговорим.

Из соседнего ресторана только что доставили роскошный ужин на двоих. Элвор, готовый упасть в обморок от истощения, накинулся на еду, даже не пытаясь скрыть зверский аппетит, но заметил, что незнакомец почти не притрагивается к еде, погрузившись в задумчивость и уделяя гостю внимания не больше, чем требовала обычная вежливость.

– Теперь поговорим, – сказал незнакомец, когда Элвор закончил есть.

Поэт, чья энергия и умственные способности полностью восстановились после сытного ужина, наконец осмелился внимательнее взглянуть на хозяина дома, искренне пытаясь понять, кто перед ним. Тот, со своей стороны, смотрел на утонченные дантовские черты и художественную фигуру поэта с холодным непроницаемым спокойствием, как будто говорившим, что ему

известно все, что необходимо знать об Элворе. Под этим светящимся взглядом Элвора охватило некое новое, могущественное чувство. Он видел перед собой мужчину неопределенного возраста, белой расы, судя по чертам и цвету лица, но не мог определить его национальность. При электрическом свете странный огонь в глазах незнакомца был не столь заметен, но в них ощущались неземное знание и сила, которые не могли быть описаны в человеческих терминах или переданы с помощью человеческой речи. Под его пристальным взглядом в мыслях поэта начали возникать неясные, замысловатые, ошеломляющие, неуловимые, почти не поддающиеся словам образы, которые тут же ускользали, прежде чем тот успевал их осознать. Ни с того ни с сего Элвору вдруг вспомнились строки собственной «Оды Антаресу», и он обнаружил, что едва слышно повторяет их раз за разом:

Странной надежды звезда,
Трясины отчаянья Фарос,
Бездн неприступных Владыка,
Жизни неведомой Свет...

Безнадежная, полуиздевательская тоска по иным сферам, которую он выразил в своих стихах, заполонила его мысли.

– Разумеется, ты понятия не имеешь, кто я, – продолжал незнакомец, – хотя твоя поэтическая интуиция пытается найти разгадку тайны моей личности. Что касается меня, мне нет нужды о чем-либо тебя спрашивать, поскольку я уже узнал все, что можно узнать о твоей жизни, личности и печальной судьбе, средство избежать коей я могу тебе предложить. Тебя зовут Теофилус Элвор, и ты поэт, чей классический стиль и романтический гений вряд ли найдут достойное признание в эти времена и в этой стране. Обладая куда более пророческим вдохновением, чем кажется тебе самому, ты написал в числе прочих шедевров совершенно восхитительную «Оду Антаресу».

– Откуда вам все это известно?! – воскликнул Элвор.

– Для тех, кто обладает соответствующими органами чувств, мысли столь же слышны, как и произнесенные вслух слова. Я могу слышать твои мысли, а потому легко понять, что в моих знаниях о тебе нет ничего удивительного.

– Но кто вы? – спросил Элвор. – Я слышал о людях, которые умеют читать чужие мысли, но я не верю, что существует хотя бы один человек, который на самом деле обладает такими способностями.

– Я не человек, – ответил незнакомец, – хотя нахожу удобным временно носить человеческое обличье, как ты или другой представитель вашей расы мог бы носить маскарадный костюм. Позволь представиться: мое имя, насколько его можно передать звуками вашего мира, – Визафмал, и я прибыл с планеты далекого солнца, известного вам как Антарес. В моем мире я ученый, хотя более невежественные слои общества считают меня чародеем. В результате глубоких исследований и экспериментов я изобрел устройство, позволяющее посещать иные планеты, независимо от того, как далеко они разбросаны в космосе. Мне довелось побывать не в одной солнечной системе, но ваш мир и его обитатели показались мне столь странными, любопытными и чудовищными, что я задержался здесь чуть дольше, нежели предполагал, из-за своей неискоренимой, хотя и достойной порицания любви к всевозможным странностям и диковинам. Теперь мне пришла пора возвращаться – меня зовут неотложные дела, и я не могу медлить. Но по ряду причин мне хотелось бы взять с собой представителя вашей расы, и, когда я увидел тебя сегодня на мосту, мне пришло в голову, что, возможно, ты не откажешься от подобного приключения. Как я понимаю, ты крайне устал от мира, в котором живешь, поскольку был готов его покинуть, отправившись в неведомое измерение, которое вы называете смертью. Я могу предложить тебе нечто гораздо более приятное и разносторон-

нее, нежели смерть, дав возможность получить опыт переживаний и чувств, находящихся за пределами твоих самых смелых поэтических грез и мечтаний, которые твои сородичи считают столь экстравагантными.

Слушая его долгую речь, Элвор то и дело замечал в его голосе странные нотки и обертоны, невозможные для горла обычного смертного. Несмотря на отчетливое и правильное произношение, в этой речи слышался намек на гласные и согласные, каких не отыщешь ни в одном земном алфавите. Вновь, будто в ответ на некое воспоминание, где-то в пограничной зоне мозга возникли прекрасные неземные образы, что так и остались непонятыми, – и тут же ушли в водоворот, откуда возникли. Но логическая часть разума отказывалась полностью признать эти намеки на сверхъестественное, и поэту вдруг пришло в голову, что сидящий перед ним – жертва некоего нового душевного заболевания. Само собой, Элвор был далек от того, чтобы разделять вульгарные предрассудки о сумасшествии, и когда у него возникла подобная мысль, он ощущал скорее творческий интерес или даже зависть, нежели ужас.

– Эта мысль вполне естественна, учитывая твой ограниченный опыт, – спокойно заметил его собеседник. – Однако я с легкостью могу опровергнуть твое заблуждение, представ перед тобой в своем истинном облике.

Он сделал жест, точно сбрасывал с себя одежду, и Элвора ослепила яркая белая вспышка: лучи исходили из центра некоей сферы, что заполнила всю комнату и пространство вокруг нее, будто растворив стены. Когда глаза привыкли к свету, поэт увидел перед собой существо, не имевшее ничего общего с хозяином дома, – ростом в семь с лишним футов, с пятью причудливыми суставчатыми руками и тремя столь же замысловатыми ногами. Голова его на длинной, как у лебедя, шее выглядела столь же чуждой всему земному. Три косо расположенных глаза с овальными зрачками излучали зеленое свечение, маленький рот – или то, что казалось таковым, – напоминал формой перевернутый полумесяц, нос казался рудиментарным, несмотря на изящные очертания ноздрей; на месте бровей на лбу протянулись три ряда полукруглых отметин, каждая своего оттенка, а над головой, форма которой вполне подобала мыслителю, между маленькими висячими ушами с замысловатыми раковинами возвышался роскошный темно-красный гребень, как на шлеме эллинского воина. Голову, конечности и все тело испещряли пересекающиеся круги и полумесяцы, опалесцирующие в мгновенно меняющихся неутомимых приливах и отливах всевозможных цветов.

Элвору казалось, будто он стоит на краю умопомрачительной бездны, на новой земле под новыми небесами, и перспективы беспредельных горизонтов, преисполненных недоступными человеческому воображению ужасом и красотой, нависали, колыхались и мерцали вокруг него, переливаясь множеством цветов, как и тело существа, от которого он не мог отвести изумленного взгляда. А затем странное сияние втянуло в центральную сферу все свои лучи и погасло в темном смерче. Когда тьма рассеялась, хозяин дома вновь предстал перед глазами Элвора в обычной одежде, со слегка ироничной улыбкой на губах.

– Теперь ты мне веришь? – спросил Визафмал.

– Да, верю.

– Готов принять мое предложение?

Какое-то мгновение поэт не мог ответить. Некие зачаточные символы, обрывочные картины нового соблазна и не менее нового ужаса роились в его мозгу, приводя в замешательство. Потом он вспомнил свое убогое жилище, пустые карманы, груды бесполезных рукописей и грязную реку, в которую он готов был броситься час назад.

– Принимаю, – дрожащим голосом проговорил Элвор. В голове у него возникали тысячи вопросов, но он не осмеливался их задать.

– Тебе интересно, каким образом я могу принимать человеческий облик, – заговорил Визафмал, прочитав его мысли. – Уверяю тебя, в этом нет ничего сложного. Мои мысленные образы бесконечно ярче и сильнее, чем у любого земного существа, и, представляя себя чело-

веком, я могу выглядеть таковым для тебя и твоих сородичей. Хотя я пробыл среди вас не больше нескольких месяцев, я без труда выучил ваш язык, приспособился жить по вашим обычаям и с помощью тех же выдающихся способностей постиг все, что желал постичь. Еще тебя интересует, как я прибыл на Землю. Если будешь так любезен и последуешь за мной, я все покажу и объясню.

И он первым направился на верхний этаж старого особняка. Там, на чердаке под большим застекленным потолком, стоял любопытный механизм из незнакомого Элвору темного металла – замысловатое, высокое, решетчатое сооружение из многих пересекающихся стержней и двух прочных вертикальных стоек, которые заканчивались сверху и снизу тяжелыми дисками, составлявшими, похоже, главную часть этого устройства.

– Вложи руку между стержнями, – велел Элвору хозяин.

Элвор попытался выполнить его просьбу, но пальцы встретили несокрушимую преграду, и он понял, что промежутки между стержнями заполнены неизвестным веществом прозрачнее стекла или хрусталя.

– Перед тобой, – сказал Визафмал, – изобретение, которое, льщу себе мыслью, можно назвать уникальным для этой части галактики. Диски сверху и внизу – это вибрационное устройство двойного предназначения, и никакой иной материал, кроме того, из которого они изготовлены, не обладает свойствами, позволяющими достичь подобной частоты колебаний.

– Но я не понимаю! – воскликнул Элвор. – Каково предназначение этого устройства?

– Как я уже намекал, предназначений два. Когда мы с тобой заключим себя в пространство между стержнями, несколько оборотов нижнего диска полностью изолируют нас от нынешнего окружения, и мы окажемся посреди того, что вы называете космосом, или эфиром. Колебания верхнего диска, который мы затем приведем в действие, столь мощны, что могут уничтожать само пространство в любом желаемом направлении. Пространство, как и все остальное во вселенной атомов, подчиняется законам объединения и распада. Вопрос лишь в том, чтобы получить энергию колебаний, способную воздействовать на этот распад. Благодаря неустанным исследованиям, путем бесконечных экспериментов я наконец нашел и выделил элементы редких металлов, которые, соединяясь, могут производить эту энергию.

Все это казалось Элвору удивительно ясным. Идея подобного механизма ошеломила его, но он был готов поверить во что угодно, и ничто во вселенной не казалось ему невозможным после зрелища разноцветного существа с пятью руками и тремя ногами.

Пока поэт размышлял над всем увиденным и услышанным, Визафмал дотронулся до крошечной выпуклости, и одна сторона решетки распахнулась. Затем он выключил на чердаке электрический свет, и красноватое сияние наполнило внутренность машины, освещая все детали, но оставляя комнату в темноте. Стоя рядом со своим изобретением, Визафмал посмотрел сквозь застекленный потолок, и Элвор проследил за его взглядом. Туман рассеялся, на небе появилось множество звезд, среди которых далеко на юге выделялась красная искорка Антареса. Чужеземец, видимо, производил некие предварительные расчеты. Посмотрев на звезду, он слегка передвинул машину и подправил внутри нее несколько тонких проводков, словно настраивая струнный инструмент. Либо металл, из которого состояла решетка, обладал феноменальной легкостью, либо Визафмал был наделен сверхъестественной силой, поскольку переместил он ее без какого-либо напряжения или усилий.

– Все готово, – объявил он, повернувшись наконец к Элвору. – Если ты не передумал составить мне компанию, мы отправляемся.

– К вашим услугам, – с неожиданным хладнокровием и отвагой ответил Элвор.

Невообразимые события и открытия этого вечера вкупе с невероятной возможностью нырнуть в неведомые громадные бездны, до сих пор не представлявшейся ни одному из людей, притупили его воображение, и сейчас он не мог полностью осознать всю грандиозность этого предприятия.

Визафмал показал Элвору, где расположиться внутри машины. Поэт занял место между вертикальным стержнем и стеной, напротив Визафмала, и обнаружил, что его ноги и большой диск, в который вставлены стержни, разделяет слой прозрачного материала. Едва юноша устроился поудобнее, решетка быстро и бесшумно закрылась, а стык в ней полностью исчез.

– Теперь мы находимся в герметично закрытой кабине, – объяснил Визафмал, – и ничто не может сюда проникнуть. Темный металл и прозрачное кристаллическое вещество не пропускают жар и холод, воздух и эфир или любое известное космическое излучение, за исключением света, который проходит через прозрачный металл.

Когда он замолчал, Элвор понял, что их окружает абсолютная тишина, словно в межзвездном пространстве. Шум улиц, гром, грохот и ляг большого города, все вибрации и колебания – все, что он мог услышать или почувствовать, как будто осталось в миллионах миль от них, в некоем другом мире.

В заполнявшем машину красном сиянии, источник которого он не мог обнаружить, поэт взглянул на своего спутника. Визафмал вновь обрел облик жителя Антареса, словно всякая необходимость притворяться человеком наконец отпала, и теперь возвышался над Элвором, сверкая переливчатыми пятнами волнующихся цветов всех мыслимых и немыслимых оттенков, каких поэту доселе ни разу не доводилось видеть, – от огненно-голубого, изумрудного и аметистового до сверкающе-багрового, красно-оранжевого и шафранного. Подняв одну из пяти рук с парой гибких пальцеобразных отростков, многосуставчатых и способных изгибаться в любом направлении, антаресец коснулся тонкой проволоки, что была натянута над их головами между двумя стержнями. Он ущипнул эту проволоку, словно музыкант, перебирающий струны лютни, и та издала единственную отчетливую ноту ранее неслышанной Элвором высоты. Ее чистая неземная острота заставила поэта содрогнуться в странной тоске, и вряд ли он сумел бы выдержать продолжение звука, но тот прекратился мгновение спустя, сменившись более переносимым певучим гулом, казалось исходящим откуда-то из-под ног. Посмотрев вниз, Элвор увидел, что большой диск в нижней части стержня начал вращаться, сперва почти незаметно, но потом все быстрее, пока вращение не стало неразличимым, а певучий гул – мучительно сладостным, пронизывая чувства подобно острому ножу.

Визафмал коснулся еще одной проволоки, и диск внезапно перестал вращаться. К несказанному облегчению Элвора, смолкла и мучительная нота.

– Мы в эфирном пространстве, – объявил антаресец. – Если желаешь, можешь выглянуть наружу.

Посмотрев через щель в темном металле, Элвор увидел вокруг, наверху и внизу безграничную черноту космической ночи, переполненную неисчислимыми триллионами звезд. Ощутив сильное головокружение, он пошатнулся, словно пьяный, и попытался опереться на стену машины, чтобы не упасть.

Визафмал тронул третью проволоку, но на сей раз Элвор не услышал ни звука. Вместо этого на него обрушилось некое подобие электрического разряда, словно сокрушительный удар мощного взрыва, сотрясший его с головы до пят. Он чувствовал, будто тело пронзают бесчисленные раскаленные иглы, а потом – будто его раздирают на невидимой дыбе на тысячу кусков, кость за костью, мышцу за мышцей, жилу за жилой, нерв за нервом. Пошатнувшись, он осел на пол, но не лишился чувств окончательно, – казалось, он тонет в бескрайнем море тьмы, полном безбрежных водоворотов, а над этим морем, так далеко, что он постоянно ее терял, снова и снова звучала небесная мелодия, сладостнее пения сирен или легендарной музыки сфер, в которую вторгался невыносимый диссонанс, точно содрогались сами бастионы времени. Он ощущал, как вытягиваются до предела его нервы, а сам он подвергается пыткам в подземных темницах фантастической инквизиции посредством дьявольских ударных инструментов, отчего-то отождествлявшихся с некоторыми трепещущими клетками его собственного тела. Ему вдруг почудилось, будто он видит Визафмала, стоящего в миллионах лиг вдали на берегу

чужой планеты, в небе парили разноцветные языки пламени, а вся ночь вселенной мягко плескалась у его ног, подобно покорному океану. Затем видение исчезло, далекая неземная музыка стихала, пока не смолкла совсем, и вместе с ней ушла нестерпимая боль в нервных окончаниях. Над головою разверзлась бездна, и Элвор погрузился в ее вечную темную пустоту до самого надира забвения.

II

Возвращение к реальности оказалось еще медленнее и постепеннее, чем погружение в Лету. Все еще лежа на дне безбрежной ночи, Элвор начал ощущать неясный запах. Тот постоянно изменялся, словно состоял из множества разнообразных ингредиентов, каждый из которых по очереди становился преобладающим. Мистический аромат мирры на античном алтаре сменялся тяжелым благоуханием невообразимых цветов, затем резкой вонью испарений неизвестных науке химикалий, запахом экзотической воды и почвы, а потом смесью других, ни на что не похожих элементов, которые могли существовать разве что в бурно развивающихся юных мирах за пределами человеческого опыта и воображения. Какое-то время Элвор существовал и бодрствовал лишь через отклик своих чувств на это разнообразие запахов, а затем к нему начало возвращаться ощущение собственного тела, поначалу показавшегося совершенно чужим, принадлежащим некоему иному измерению, с которым его связывала через бескрайние бездны тонкая, как паутина, нить. Ему чудилось, будто эта телесная сущность покоится на некоем исключительно мягком материале, полностью погрузившись в него, не в силах пошевелиться, скованная неодолимой свинцовой тяжестью и всепоглощающим вялым безразличием. Затем, проплыв сквозь бесчисленные периоды черной пустоты, с неизъяснимой медлительностью она двинулась в сторону Элвора и наконец, без какого-либо перехода, без нарушения физической логики или душевной гармонии, воссоединилась с ним. Вдали вспыхнул крохотный огонек, похожий на одинокую звезду в самом центре бесконечности, точно далекий рассвет, который постепенно приближался, разрастаясь все больше, пока черная бездна не сменилась обрушившимся на Элвора ослепительным сиянием множества великолепных оттенков.

Он обнаружил, что лежит с широко раскрытыми глазами на огромном ложе в некоем подобии павильона под низким овальным куполом, опирающимся на двойной ряд колонн с диагональными каннелюрами. Одежда отсутствовала, лишь на ноги была наброшена тонкая бледно-желтая ткань. Несмотря на слегка притупившиеся чувства, словно под воздействием какого-то наркотика, Элвор сразу же понял, что ткань эта не могла быть произведена ни одним земным ткацким станком. Ложе под ним было покрыто серо-пурпурным, толстым и упругим материалом, но он не мог понять, что это – перья, мех или ткань, поскольку материал одновременно напоминал и то, и другое, и третье. Этим объяснялось ощущение удивительной мягкости, которым сопровождалось возвращение из обморока. Ложе было выше и длиннее обычной кровати, что встревожило все еще пребывавшего в одурманенном состоянии поэта даже больше, чем прочие малообъяснимые детали всего случившегося с ним за последние несколько часов.

Удивление его возросло еще больше, когда он, постепенно приходя в себя, огляделся вокруг, ибо то, что он видел, обонял и ощущал, выглядело решительно чужим и непостижимым.

Пол павильона был выложен геометрической мозаикой в виде овалов, ромбов и равно-сторонних многоугольников из белого, черного и желтого металлов, подобных которым не добывалось ни на одном земном руднике; из тех же трех чередующихся металлов состояли и колонны. Один лишь купол был полностью желтым. Неподалеку от ложа на приземистом треножнике покоился темный широкогорлый сосуд, источавший опалесцирующий пар. Позади треножника стоял кто-то невидимый, взмахами веера гоня в сторону Элвора облака восхити-

тельных испарений. Он узнал запах мирры, который первым взволновал его пробуждающиеся чувства. Аромат был достаточно приятным, но его быстро развеивали порывы теплого ветра, приносившие с собой смесь совершенно новых запахов, сладких и едких одновременно. Взглянув между колоннами, Элвор увидел исполинские верхушки высоченных соцветий, обросших чувственными темными лепестками, точно пагоды – крышами, а позади них – террасный ландшафт, низкие розовато-лиловые и оранжево-красные холмы, что простирались до невероятно далекого горизонта, постепенно поднимаясь к небесам. Белесое небо заливали ослепительные лучи скрытого за куполом солнца. У Элвора заболели глаза, запахи будоражили и угнетали, и его охватила страшная растерянность и недоумение. Он смутно припомнил встречу с Визафмалом и события, которые предшествовали обмороку. Поэт был невыносимо взволнован; все его мысли и ощущения пребывали в болезненном расстройстве, осложнявшемся иррациональным страхом перед начинающимся бредом.

Некая фигура выступила из-за клубящихся паров и подошла к дивану. Это был Визафмал, который держал в одной из пяти своих рук большой тонкий веер из голубоватого металла. В другой его руке была трубчатой формы чашка, наполовину заполненная красной жидкостью.

– Выпей, – велел он, поднося чашку к губам Элвора.

Жидкость оказалась до того горькой и жгучей, что Элвор, задыхаясь и кашляя, смог глотать ее лишь по чуть-чуть. Но едва он допил снадобье, разум его быстро прояснился и все чувства вскоре пришли в относительную норму.

– Где я? – спросил он.

Собственный голос казался ему странным и незнакомым, напоминавшим чревоуещание, что, как он позднее узнал, было вызвано некоторыми особенностями здешней атмосферы.

– Ты в моем поместье в Ульфалоре, королевстве, занимающем все северное полушарие Сатаббора, ближайшей к солнцу планеты в системе Санарды, звезды, которую в вашем мире называют Антаресом. Ты провел без сознания трое наших суток, чего следовало ожидать, учитывая глубокое потрясение, полученное твоей нервной системой. Но вряд ли это приведет к необратимым последствиям, и я только что дал тебе превосходное лекарство – оно поможет твоим нервам и телу приспособиться к новым условиям, в которых тебе отныне предстоит жить. Чтобы привести тебя в чувство, я воспользовался этими опалесцирующими испарениями, когда счел, что это будет безопасно и разумно. Их получают при сжигании ароматических водорослей, и они обладают чудесным тонизирующим действием.

Элвор попытался осознать услышанное, но мозг все еще отказывался воспринять свалившуюся на него мешанину совершенно новых, непонятных и диковинных впечатлений. Размышляя над словами Визафмала, он увидел, как ползут по полу проникающие между колонн лучи яркого света, а затем из-за купола появился край огромного янтарного солнца, и поэт ощутил его сокрушительный жар, впрочем, вполне переносимый. Глаза больше не болели даже от прямых лучей местного светила; не раздражали и запахи, как было еще совсем недавно.

– Думаю, – сказал Визафмал, – ты можешь встать. День уже перевалил за половину, а тебе еще многое предстоит узнать и сделать.

Сбросив тонкое желтое покрывало, Элвор сел, свесив ноги с края ложа.

– Но... моя одежда? – спросил он.

– В нашем климате она тебе не понадобится. Никто на Сатабборе не носит ничего подобного.

Элвор, хоть и был слегка обескуражен, немного поразмыслил и решил, что сумеет привыкнуть ко всему, что от него потребуется. В любом случае в сухом знойном воздухе нового мира отсутствие одежды никаких неудобств не доставляло.

Он сполз на пол с высокого, почти в пяти футах над полом, ложа и сделал несколько шагов. Ни слабости, ни головокружения, как он отчасти ожидал, не чувствовалось, но все дви-

жения сопровождалось ощущением той же чрезмерной тяжести, которую он смутно отметил, пребывая в полубессознательном состоянии.

– Наша планета несколько больше твоей, – объяснил Визафмал, – соответственно, больше и сила тяжести. Твой вес увеличился по меньшей мере на треть, но, думаю, вскоре ты привыкнешь и к этому, и к другим новшествам твоего нынешнего положения.

Дав знак поэту идти следом, Визафмал направился через ту часть павильона, что находилась позади Элвора, когда тот лежал на кушетке. Спиральный мост из восходящих лестниц вел из павильона к нагромождению различных сооружений, где многочисленные флигели и пристройки той же воздушной архитектуры куполов и колонн расходились от центрального здания с круглой стеной и множеством тонких шпилей. Под мостом, возле павильона и вокруг всего здания были разбиты сады; деревья и цветы в этих садах привели Элвору на ум видения во время его единственного эксперимента с гашишем. Одни деревья покрывала тончайшая нитевидная, подобная волосам листва, горизонтальные ветви других были усеяны огромными дисками и полусферами, как будто чем-то средним между листьями и плодами. Кора и листва отличались невероятным разнообразием оттенков, среди которых встречался даже зеленый. Цветы в основном походили на те, которые Элвор видел из павильона, но были и другие, на коротких толстых стеблях без листьев, и зловещие пурпурно-черные головки их бутонов со множеством алых ртов слегка покачивались даже без ветра. Немалую часть сада занимали овальные пруды и извивающиеся потоки темной воды с радужными бликами на поверхности. Все это вместе с круглым зданием располагалось посреди небольшого плато.

Следуя по мосту за своим провожатым, Элвор рассматривал открывавшуюся перед ним перспективу размеченных геометрически правильными ромбами, квадратами и треугольниками холмов и равнин, среди которых на мгновение открылось огромное озеро или внутреннее море. Вдали, на расстоянии больше ста лиг, виднелись сверкающие купола и башни барочного города, к которому клонился огромный шар закатного солнца. Взглянув на солнце и впервые увидев всю его громаду, Элвор ощутил неодолимый трепет, изумление, благоговение и ликование при мысли, что это та же самая красная звезда, к которой он обращался на другой планете в отчасти лиричных, отчасти ироничных строках своей оды.

Дойдя до конца спирального моста, они оказались в другом, более просторном павильоне, где стоял высокий стол со множеством сидений, прикрепленных к нему с помощью изогнутых стержней. Стол и стулья были сделаны из одного и того же материала – легкого сероватого металла. В павильон, кланяясь Визафмалу, вошли два странных существа. Строением своих тел они напоминали ученого, но были ниже ростом, а их тусклая окраска не опалесцировала. Некоторые признаки позволили Элвору предположить, что эти два существа разного пола.

– Ты прав, – сказал Визафмал, прочитав его мысли. – Это мужчина и женщина двух низших полов, их называют аббарами. В нашем мире они составляют расу рабочих и производителей. Существуют два высших пола, они стерильны и образуют класс интеллектуалов, эстетов и правителей, к которому принадлежу и я. Мы называем себя альфадами. Аббары более многочисленны, но мы держим их в строгом подчинении, и, хотя они являются как нашими родителями, так и нашими рабами, идея сыновней преданности, преобладающая в вашем мире, считается у нас чем-то воистину невероятным. Мы контролируем их размножение, поддерживая должное соотношение аббаров и альфадов, и классовая принадлежность потомства определяется инъекцией определенных сывороток во время зачатия. Сами мы, хоть и стерильны, способны на то, что вы называете любовью, и наши чувственные наслаждения по своей природе куда сложнее ваших.

Повернувшись, он обратился к двум аббарам. Звуки и их сочетания, срывавшиеся с его губ, не имели ничего общего с безупречным английским, на котором он разговаривал с Элвором. Странные горловые согласные и чересчур длинные гласные так и не дались Элвору,

несмотря на все его последующие попытки выучить язык, что свидетельствовало о существенном отличии голосовых органов Визафмала от его собственных.

Низко поклонившись почти до самого пола, двое аббаров скрылись среди колонн в крыле здания и вскоре вернулись с длинными подносами, на которых стояла неземной формы посуда с неведомой едой и напитками.

– Садись, – сказал Визафмал.

Еда оказалась вполне приятной на вкус, хотя Элвор не мог понять, мясо это или овощи. Как выяснилось, на самом деле и то и другое – плоды растений, чья клеточная структура по своим характеристикам и составу соответствовала животной. Аббары добывали эту флору в дикой местности с теми же предосторожностями, какие требовались при охоте на опасных зверей, учитывая подвижные ветви и ядовитые шипы, которыми она была вооружена. Один из двух поданных напитков представлял собой бесцветное вино с резким вкусом, изготовленное из корней, а второй, мутный и сладковатый, оказался природной водой этой планеты. Элвор отметил, что вода оставляет солоноватое послевкусие.

– Настало время, – объявил Визафмал в конце трапезы, – объяснить тебе истинную причину, по которой я доставил тебя сюда. Сейчас мы отправимся в ту часть моего дома, которую ты назвал бы лабораторией или мастерской; там же находится моя библиотека.

Миновав несколько павильонов и извилистых колоннад, они дошли до круглой стены в центре здания и, открыв высокую узкую дверь, покрытую причудливыми письменами, оказались в большом помещении без окон, освещенном желтым светом непонятного происхождения.

– Стены и потолок покрыты радиоактивным веществом, которое обеспечивает освещение, – сказал Визафмал. – Излучение этого вещества в немалой степени стимулирует мыслительные процессы.

Элвор окинул взглядом комнату, заполненную перегонными кубами, пробирками, ретортами и множеством научных принадлежностей незнакомого типа, выполненных из неизвестных ему материалов. Он не мог даже предположить, для чего все это предназначалось. Позади приборов, в углу, он заметил устройство с решеткой и двумя тяжелыми дисками, в котором они с Визафмалом совершили путешествие через эфирное пространство. Вдоль стен тянулись ряды глубоких полок, заставленных большими свитками, похожими на древние рукописи.

Выбрав один из свитков, Визафмал начал его разворачивать. Шириной в четыре фута, серого цвета, свиток был густо исписан темно-фиолетовыми и коричневыми символами, что располагались столбцами по горизонтали свитка, а вовсе не сверху вниз.

– Тебе необходимо узнать о нескольких фактах, относящихся к истории, религии, а также интеллектуальному складу нашего мира, – сказал Визафмал, – а затем я прочитаю тебе необычайное пророчество, содержащееся в одной из колонок этой древней хроники.

Мы очень древний народ, и начало или даже первая зрелость нашей цивилизации предшествует появлению низших форм жизни на вашей планете. Религиозные чувства и почитание прошлого мы всегда ставили во главу угла, и они во многом формировали нашу историю на всем ее протяжении. Даже сегодня все аббары и большинство альфадов полны суеверий, и мельчайшие детали повседневной жизни регулируются жреческим законом. Некоторые ученые и мыслители, подобно мне, выше этого ребячества, но, строго между нами, в этом смысле альфады, несмотря на все их высокомерие и аристократизм, – по большей части жертвы замедленного развития. Они достигли немалых высот в эпикурейских и эстетических сферах своей жизни; среди них немало выдающихся художников, способных администраторов и политиков, но с интеллектуальной точки зрения они так и не освободились от цепей, которыми их сковывает бесплодный пантеизм и разросшееся сверх всякой меры духовенство.

Несколько циклов назад, можно сказать в ранний период нашей истории, поклонение многочисленным божествам достигло апогея. В то время настоящим бедствием стало наше-

ствие пророков, объявлявших себя глашатаями богов, примерно так же, как их единомышленники в вашем мире. Каждый из этих пророков делал множество предсказаний, часто весьма замысловатых, временами порожденных изобретательной игрой воображения. Многие из тех пророчеств исполнились вплоть до последней буквы, что, как ты вполне можешь догадаться, во многом помогло укрепить власть религии. Между нами, я подозреваю, что за исполнением пророчеств в той или иной степени стоит помощь тех, кто мог на этом так или иначе заработать.

Один из пророков, по имени Абболехиолор, оказался еще изобретательнее и велеречивее, нежели многие его коллеги. Сейчас я переведу тебе предсказание, которое он сделал в двести девяносто девятом году цикла Сарголота, третьей из семи эпох, на которые подразделяется наша история. Итак, слушай:

«Когда во второй раз после сего предсказания две дальние луны Сатаббора одновременно затмит третья, внутренняя луна, и когда после затмения темная ночь сменится рассветом, в городе Сарпулом перед дворцом королей Ульфалора появится могущественный чародей в сопровождении невиданного и неслыханного монстра с двумя руками, двумя ногами, двумя глазами и белой кожей. И еще до полудня того дня будет низложен правитель Ульфалора, а чародей воцарится на его троне и будет властвовать так долго, как будет пребывать рядом с ним белый монстр».

Визафмал замолчал, словно давая Элвору возможность осознать услышанное, а затем, бросив на него насмешливый и вместе с тем пронизательный взгляд всех трех глаз, продолжил:

– С тех пор как было провозглашено пророчество, уже случилось одно полное затмение двух дальних лун, заслоненных ближней. И, по расчетам наших астрономов, в которых я не нахожу никаких изъянов, скоро произойдет второе подобное затмение – собственно, уже этой ночью. Если пророчество Абболехиолора истинно, оно должно сбыться завтрашним утром. Некоторое время назад я решил, что никакая случайность не должна этому помешать, и сконструировал тот самый механизм, с помощью которого посетил твою планету, – в том числе и для того, чтобы найти чудовище, соответствующее описанию Абболехиолора. Подобных аномальных созданий никогда не существовало на Сатабборе даже в легендах, и я тщательно обследовал множество труднодоступных и отдаленных планет, но так и не нашел то, что искал. В некоторых мирах встречались весьма необычные обитатели с почти неограниченным количеством органов зрения и конечностей, но та разновидность, к которой принадлежишь ты, – всего с двумя глазами, двумя руками и двумя ногами, – видимо, и впрямь крайне редка в пределах этой галактики, поскольку я не обнаружил ее ни на одной из планет, кроме твоей.

Теперь ты наверняка понимаешь суть моего давнего замысла. Мы с тобой появимся на рассвете в Сарпуломе, столице Ульфалора, купола и башни которой ты видел вдали на равнине. Благодаря знаменитому пророчеству и общеизвестным расчетам, предполагающим неминуемое второе двойное затмение, перед дворцом королей в ожидании грядущих событий наверняка соберется большая толпа. Аккиэль, нынешний король, отнюдь не пользуется популярностью, и наше с тобой появление станет сигналом к его низвержению. Я стану правителем вместо него, в точности как предсказывал Абболехиолор; высшая светская власть мне не помешает, несмотря даже на то, что я мудр, сведущ и превыше любой житейской суеты. Когда эта честь будет возложена на мои недостойные плечи, я в награду за чудодейственную помощь смогу предложить тебе жизнь в исключительной роскоши, полную разнообразных впечатлений, какие ты вряд ли в силах вообразить. Несомненно, среди нас ты будешь обречен на некоторое одиночество и тебя всегда будут воспринимать как чудовище, как удивительную аномалию, но, полагаю, вряд ли тебя ждала бы иная судьба в мире, где я тебя нашел и где ты собирался броситься вниз головой в весьма неприглядную реку. Как ты уже убедился, поэтов там считают не меньшими диковинами, чем двухголовых змей или пятиногих телят.

Элвор слушал его речь со все нарастающим изумлением. В конце, когда насчет намерений Визафмала уже не оставалось никаких сомнений, он ощутил укол горькой иронии при

мысли о той роли, которую суждено сыграть ему самому. Но и справедливости последнего приведенного Визафмалом аргумента он тоже не мог не признать.

– Надеюсь, – спросил Визафмал, – я не оскорбил твоих чувств своей откровенностью или тем предназначением, которое отвел тебе в своем плане?

– Нет-нет, нисколько, – поспешно заверил его Элвор.

– В таком случае мы вскоре начнем наше путешествие в Сарпулом, которое займет всю ночь. Естественно, мы могли бы перенестись туда мгновенно с помощью моего аннигилятора пространства или долететь за несколько минут в воздушной машине. Но я намерен воспользоваться крайне старомодным способом передвижения, дабы прибыть в надлежащей манере и в надлежащее время, а также для того, чтобы ты смог насладиться нашими пейзажами и увидеть двойное затмение во всей его красе.

Когда они вышли из комнаты без окон, колоннады и павильоны заливал розовый свет, хотя до захода солнца оставался еще час. Как впоследствии узнал Элвор, так выглядела обычная прелюдия к сатабборскому закату. Пейзаж погрузился в красное сияние, которое становилось все темнее, от киновари до рубина и граната, по мере того как исчезал из виду Антарес. Когда его огромный шар полностью скрылся за горизонтом, земля приобрела оттенок аметиста, и от заходящего солнца выстрелили вверх окрашенные в сотни пламенных оттенков длинные языки закатного огня.

Незнакомый звук оторвал Элвора от этого великолепного зрелища; обернувшись, поэт увидел необычную повозку, которую аббары доставили к ступеням павильона. Больше всего она напоминала колесницу, и ее тянули трое животных, каких не знают ни человеческие легенды, ни геральдика. Были они черны и безволосы, с замечательно длинным телом, восемью ногами и раздвоенным хвостом. Всем своим видом, включая плоские треугольные головы, они неприятно напоминали ядовитых змей. С их шей и животов рядами свисали зеленые и красные кожистые сережки, а на боках виднелись разворачивающиеся полупрозрачные перепонки.

– Перед тобой, – сообщил Элвору Визафмал, – традиционное средство передвижения, используемое с незапамятных времен всеми чародеями в Ульфалоре. Эти создания называются орподами, и они едва ли не самые быстрые скакуны среди млекопитающих змеев.

Ученый и поэт уселись в повозку, и три орпода в замысловатой упряжи без поводьев, повинаясь словесной команде, двинулись по спиральной дороге от дома Визафмала в раскинувшуюся ниже долину. Развернув на ходу перепонки на боках, орподы вскоре разогнались до удивительной скорости.

Только теперь Элвор впервые увидел три луны Сатаббора, взошедшие на фоне закатных сумерек. Все они были достаточно велики, особенно ближайшая. От их розовых лучей исходило ощутимое тепло, а отражаемый ими свет Антареса был почти столь же ярок, как свет земного дня.

Местность, по которой ехали Визафмал и поэт, выглядела необитаемой, несмотря на близость к Сарпулому, и по дороге они никого не встретили. Элвор узнал, что террасы, которые он видел после пробуждения и счел творением разумных существ, – на самом деле естественные горные образования. Визафмал предпочел поселиться здесь, поскольку для научных экспериментов, которым он посвятил себя, весьма желательно уединение.

После того как они преодолели много лиг пути, им стали время от времени попадаться строения, похожие на дом Визафмала. Затем дорога пошла вдоль края возделанных полей, геометрически правильные очертания которых Элвор видел издали днем. Как объяснил Визафмал, на полях этих в основном выращивали корнеплоды, гигантские трюфели и некую разновидность сочного кактуса, которые составляли главную пищу аббаров. Альфады питались исключительно мясом животных и плодами диких полуживотных-полурастений, подобных тем, что подавали Элвору.

К полуночи три луны сблизились, и вторая начала закрывать самую дальнюю. Затем ближняя луна медленно наползла на остальные, и через час затмение стало полным. Быстро стемнело, и света теперь было не больше, чем в лунную ночь на Земле.

– До утра меньше двух часов, – сказал Визафмал. – Наши ночи очень коротки в это время года. Затмение завершится еще раньше, но нам незачем спешить.

Он что-то сказал орподам, и те сложили перепонки и перешли на некое подобие рыси.

Очертания расположившегося посреди равнины Сарпулома становились все отчетливее по мере того, как две скрытые луны выходили из тени третьей. Когда к их тройному свету добавились рубиновые лучи рассветного солнца, перед путешественниками во всей красе предстал город из таких же открытых многоэтажных сооружений с металлическими колоннами, как и дом Визафмала. Подобная архитектура, как узнал Элвор, была распространена повсеместно, хотя порой встречалась и более старая, с закрытыми стенами, – ее использовали при строительстве тюрем и застенков инквизиции, которую содержали высшие жрецы разнообразных божеств.

Перед Элвором открылось невероятное зрелище – ряды высоких куполов на изящных вытянутых колоннах, вздымающиеся ярус за ярусом воздушные колоннады, мосты и висячие сады, что смотрелись величественнее садов Вавилона в меняющемся красноватом свете сатабборской зари. И по улицам этого города, по мостовым, выложенным тем же металлом, что использовался для постройки зданий, три орпода везли Элвора и Визафмала.

Ощущение невероятно древней, чужой и разнообразной жизни исходило от этих построек. К своему немалому удивлению, поэт обнаружил, что улицы почти пусты и нигде не видно следов хоть какой-то деятельной жизни. Немногочисленные аббары, увидев орподов, прятались в переулках или за дверями, а два создания, окраской похожих на Визафмала, – одно из них Элвор принял за женщину, – вышли из-за колоннады и устали на путешественников в ошеломлении.

Когда они проехали больше мили по извилистому проспекту, Элвор увидел впереди между зданиями верхние уровни и купола сооружения, возносящегося надо всеми остальными городскими строениями.

– Перед тобой дворец королей Ульфалора, – сказал его спутник.

Вскоре они въехали на большую площадь, окружавшую дворец. Площадь была запружена жителями города, которые, как и предполагал Визафмал, собрались в ожидании исполнения – или неисполнения – пророчества Абболехиолора. Открытые галереи и аркады огромного дворца, поднимавшегося на высоту десяти этажей, тоже были заполнены зрителями. Большую часть толпы составляли аббары, но среди них было и множество альфадов яркой, веселой окраски.

При виде Элвора и его спутника народ зашевелился. Некое общее волнение, подобно гигантской судороге, сотрясло всю толпу, собравшуюся на площади, и прокатилось дальше, вдоль дворцовых галерей. Послышались громкие пронзительные крики, из дворца донеслись резкие металлические звуки, подобные тревожным гонгам, а на верхних этажах то вспыхивали, то гасли таинственные огни. На фоне шума все больше возбуждавшейся толпы раздавался лязг неизвестных машин, стон, рев и визг каких-то инструментов. Толпа расступилась перед повозкой, которую тянули три орпода, и Визафмал с Элвором вскоре оказались у входа во дворец.

Словно в кошмарном сне, Элвор с неловкостью ощущал на себе взгляды десятков тысяч глаз, с опасливым любопытством изучавших каждую подробность его внешности. Пока повозка ехала по освобожденной для нее дорожке, движение в нечеловеческой толпе прекратилось, и ненадолго наступила тишина. Затем снова слышались ропот и крики, похожие на военные приказы или призывы, которые подхватывались и передавались дальше. Толпа вновь зашевелилась, в ней как будто забурили водовороты, и первые ряды аббаров и альфадов, подобно темным и раскрашенным волнам, хлынули во дворец. С пугающей ловкостью и

быстротой взобравшись по колоннам, они заполнили дворы, павильоны и аркады, и, хотя им, похоже, оказывали сопротивление, их уже ничто не могло остановить.

Визафмал с непроницаемой миной стоял в повозке рядом с поэтом, не обращая внимания на всеобщий шум, лязг и суматоху. Вскоре из дворца вышли несколько альфадов – видимо, делегация – и, поклонившись чародею, обратились к нему в покорном, умоляющем тоне.

– Наше прибытие стало поводом для мятежа, – объяснил Визафмал. – Король Аккиэль бежал, и теперь придворные камергеры и верховные жрецы всех наших местных богов предлагают мне трон Ульфалора. Таким образом, пророчество исполняется вплоть до последней буквы. Абболехиолор и в самом деле великий предсказатель, согласись.

III

Церемония возведения Визафмала на престол состоялась почти сразу же, в огромном зале в центре дворца, с колоссального размера колоннами, открытым, как и все остальное сооружение. Трон представлял собой большой шар из лазурного металла, на вершине которого находилось место для сидения, куда можно было добраться по витой лестнице. По приказу чародея Элвору позволили встать у подножия шара вместе с несколькими альфадами.

Сама церемония оказалась довольно простой. В наступившей тишине взойдя по лестнице, чародей уселся в выемке в большом шаре. Затем очень высокий и, вероятно, занимавший соответствующее своему росту положение альфадов принес тяжелый жезл, одна половина которого была зеленой, а другая – темно-красной. Жезл этот он вложил в руки Визафмала. Позднее Элвор узнал, что красный конец жезла излучает смертоносные лучи, а зеленый – вибрации, способные излечить почти любые заболевания, которыми могут страдать сатабборцы. Соответственно, жезл был не просто символом власти над жизнью и смертью, которая вверялась королю.

Церемония закончилась, и собравшиеся быстро разошлись. Элвору по приказу Визафмала предоставили открытые покои на третьем этаже дворца, куда вел лабиринт лестниц. Вскоре туда пришли около дюжины аббаров, назначенных его личными слугами, и каждый нес еду или напиток. Продукты выглядели невероятно странно – в том числе яйца похожего на мотылька насекомого величиной с кулика и напоминающие яблоки плоды грибообразных деревьев, что росли в кратерах потухших вулканов. Еда подавалась в искусно сработанных сосудах из белого сверкающего минерала, опиравшихся на ножки фантастической длины. Кроме того, Элвору подали в неглубоких чашах крепкий напиток из похожего на кровь сока растений и вино, в котором была растворена наркотическая пыльца ночных цветов.

В последовавшие за этим дни и недели реальность казалась поэту куда фантастичнее видений, вызываемых любыми земными наркотиками. Шаг за шагом его посвящали, насколько это было возможно для столь чуждого существа, в сложности и особенности жизни в новом мире. Постепенно с помощью красной жидкости, которую Визафмал продолжал периодически ему давать, нервы и разум Элвора приспособились к яркому свету и жаре, высокой радиоактивности почвы и атмосферы с их неземными химическими составляющими, странным продуктам и напиткам и самим местным обитателям с их необычайной анатомией и причудливыми обычаями. Ему подобрали преподавателей, чтобы учить его языку, и, несмотря на некоторые трудности, связанные с произношением невообразимых согласных и улюлюкающих гласных звуков, он сумел добиться того, чтобы его простейшие мысли и желания стали понятны другим.

Каждый день он виделся с Визафмалом, и новый король, похоже, был искренне благодарен ему за незаменимую помощь в исполнении пророчества. Визафмал, не жалея сил, обучал его всему, что требовалось знать, и держал его в курсе всех событий в Ульфалоре. В числе прочего выяснилось, что о местонахождении бывшего правителя Аккиэля нет никаких известий. Кроме того, у Визафмала имелись причины опасаться противников из числа жрецов,

которым, несмотря на его скрытность, каким-то образом стало известно о его вольнодумных наклонностях.

Как и предупреждал чародей, Элвор, несмотря на все внимание, заботу и несравненную роскошь, которыми его окружили, чувствовал, что все воспринимают его просто как диковинку. Для них он выглядел не меньшим чудовищем, чем они для него, и, казалось, через созданную законами иной биологии и чуждой эволюции бездну невозможно перебросить какой бы то ни было мост. Поэта расспрашивали, в частности несколько делегаций известных ученых, которые желали узнать о нем как можно больше. Но вопросы были столь снисходительными, грубыми, недалекими и пренебрежительными, что вскоре у него вошло в привычку в таких случаях изображать полное незнание языка. Бездну между ним и остальными не приходилось отрицать; и еще острее он осознавал ее всякий раз, когда встречал при дворе аббаров или альфадов женского пола, которые разглядывали его с высокомерным любопытством и зачастую хихикали ему вслед. Его обнаженные конечности, столь немногочисленные, удивляли их не меньше, чем его самого – их замысловатые загадочные прелести. Никто из них не носил никакой одежды; сатабборцы не пользовались даже ожерельями или любыми другими украшениями. Альфадыженщины, как и мужчины, отличались крайне высоким ростом, а разнообразием оттенков кожи могли бы превзойти оперение любого павлина. Не менее странным было и их анатомическое строение... Элвор начал ощущать одиночество, о котором говорил Визафмал, и порой его охватывала тоска по его собственному миру, по родной планете. Он стал чрезвычайно нервным и вскоре оказался на грани душевной болезни.

Пока он пребывал в таком состоянии, Визафмал взял его в поездку по Ульфалору, необходимую по политическим причинам. Жители дальних провинций и полярных областей отказывались верить в реальность такого чудовища, как Элвор, и новый правитель счел разумным наглядно продемонстрировать всем двурукий, двуногий и двуглазый феномен, чтобы снять любые сомнения в законности собственных прав на трон. Во время поездки они посетили немало удивительных городов, сельскохозяйственных и промышленных центров Сатаббора. Элвор увидел рудники, где трудом миллионов аббаров добывались бесчисленные количества металлов и минералов, используемых в Ульфалоре. Их чистые, почти беспримесные залежи выглядели поистине неистощимыми. Поэт видел огромные океаны, которые вместе с несколькими внутренними морями и озерами, питаемыми из подземных источников, были единственным источником воды для стареющей планеты, где уже много веков никто не слышал о дожде. Морская вода после очистки от нежелательных элементов доставлялась по всей суше с помощью системы трубопроводов. Видел он и болота на северном полюсе, покрытые зловещими звероподобными зарослями, куда никто даже не пытался проникнуть.

В поездке они встречали многих жителей дальних земель, но внешне обитатели Ульфалора выглядели одинаково по всей стране, за исключением одной или двух рас низших аборигенов, среди которых не было альфадов. Повсюду поэт встречал такое же надменное и жестокое любопытство, как и в Сарпуломе. Постепенно он привык, а разнообразные удивительные зрелища и небывалые представления, которые он наблюдал ежедневно, помогали ему отвлечься от тоски по утерянной Земле.

Когда они с Визафмалом вернулись в Сарпулом после нескольких недель отсутствия, оказалось, что многие верховные жрецы сатабборских богов и богинь проявляют недовольство и мятежные настроения, особенно жрецы Кунтамози, Космической Матери, высоко почитаемой обоими способными к размножению полами. Кунтамози считали источником всего сущего, родительницей солнца, луны, самого мира, звезд, планет и даже часто падавших на Сатаббор метеоритов. Но ее жрецы полагали, что чудовище, подобное Элвору, вряд ли могло быть порождением божественной утробы и само его существование – своего рода святотатство, а правление еретика-чародея Визафмала, основанное на явлении этого уродца, прямо оскорбляет Космическую Мать. Жрецы не отрицали чудесного исполнения пророчества Абболехиолора,

но придерживались мнения, что оно вовсе не гарантирует вечного правления Визафмала и никак не доказывает, что его одобряет кто-либо из богов.

– Не стану скрывать, – сказал Визафмал Элвору, – что положение у нас обоих сейчас несколько шаткое. Я намереваюсь доставить из своего поместья во дворец аннигилятор пространства, поскольку он может мне понадобиться, и не исключено, что некая иная планета вскоре может оказаться для меня куда благотворнее, чем родной мир.

Впрочем, способный ученый, проницательный чародей и просвещенный король как будто не осознавал, насколько близкая угроза нависла над его правлением, – или же, по обыкновению своему, предпочитал выказывать саркастическую сдержанность. Он не проявлял ни малейшего беспокойства, лишь обеспечил Элвору постоянную охрану на случай, если поэта попытаются похитить ввиду финальной оговорки из пророчества.

Через три дня после возвращения в Сарпулом, когда Элвор стоял на балконе в своих покоях, глядя на крыши города, а охранники лениво болтали за его спиной, он вдруг увидел, что улицы потемнели от толп народа, в основном аббаров, молча стекавших к дворцу. Во главе толпы шли несколько альфадов, хорошо различимых даже с такого расстояния благодаря яркой расцветке. Помня о словах короля, встревоженный Элвор отправился на поиски Визафмала по бесконечным извилистым лестницам, что вели к королевским покоям. Другие обитатели дворца тоже увидели приближающуюся толпу, и во дворце воцарились безумная суматоха и волнение. Преодолев последний лестничный марш, Элвор, к своему удивлению, обнаружил, что покои уже заполонило множество аббаров, которые проникли во дворец с другой стороны, с обезьяньей ловкостью взобравшись по колоннам и лестницам. Сам Визафмал стоял у открытой решетки аннигилятора пространства, установленного около его ложа. В руке он держал королевский жезл, направив его красный конец на ближайшего аббара. Когда это создание прыгнуло на Визафмала, размахивая оружием с несколькими крюкообразными лезвиями, король сжал жезл, приведя в действие потайную пружину, и тонкий розовый луч света свалил аббара наповал. Ничуть этим не смутившись, за первым аббаром последовали другие, и король невозмутимо, словно проводя некий научный эксперимент, поражал их смертоносным лучом, пока на полу не выросла гора мертвых тел. Но место погибших занимали следующие, а некоторые начали швырять свои крючья в короля. Ни одному не удалось попасть в цель, но, похоже, Визафмала все это утомило: он шагнул в аннигилятор и закрыл за собой решетку. Мгновение спустя раздался чудовищный грохот, подобный тысяче громовых раскатов, и механизм исчез вместе с Визафмалом. Что с ним стало и в каком мире – возможно, еще страннее, чем Сатаббор, – он впоследствии предавался своим научным фантазиям и причудам, поэт так никогда и не узнал.

Элвор даже не успел осознать, что король подло бросил его на произвол судьбы. Все верхние и нижние этажи огромного здания заполонила вторгшаяся толпа, с яростными криками преодолевая сопротивление придворных и рабов. Дворец захлестнуло вздымающееся море из мириад альфадов и аббаров, бежать было некуда. Несколько мгновений спустя Элвор оказался в плену у группы аббаров, которых исчезновение Визафмала скорее привело в ярость, чем испугало или обескуражило. По овальным и вертикальным красным отметинам на темных телах поэт признал в этих аббарах жрецов Кунтамози. Связав Элвора веревками из кишок животного, похожего на дракона, его повели прочь из дворца по улицам, вдоль которых выстроились не сводившие с него взгляда и что-то бормотавшие зеваки, к зданию на южной окраине Сарпулома, где, как рассказал ему в свое время Визафмал, располагалась инквизиция Космической Матери.

Здание это, в отличие от большинства строений в Сарпуломе, было со всех сторон окружено стенами, возведенными из огромных серых кирпичей из местной глины, которые не уступали по прочности гранитным блокам. Элвора провели в длинный пятиугольный зал, куда свет

проникал через узкие щели в потолке. Здесь он предстал перед судом жрецов под председательством напыщенного, чем-то похожего на понтифика альфада – Великого инквизитора.

Зал переполняли хитроумные и гротескные пыточные орудия, стены до самого потолка были увешаны приспособлениями, которым позавидовал бы Торквемада. Некоторые из них, очень маленькие, предназначались для воздействия на отдельные нервы, а другие, гораздо крупнее, – для сдираания кожи целиком при помощи механизма, похожего на ворот.

Элвор мало что понял из предъявленных ему обвинений, сообразив лишь, что речь идет все о том же, о чем говорил Визафмал: его, Элвора, считали чудовищем, которое никогда не могла бы зачать и тем более произвести на свет Кунтамози, и само его существование в прошлом, настоящем и будущем – страшное оскорбление для божества. Темный злоедающий зал, полный адских орудий, дьявольские лица инквизиторов и пронзительный, нечеловеческий гул их голосов, нараспев зачитывающих обвинение, повергали Элвора в такой ужас, какой не мог бы присниться даже в самом кошмарном сне.

Наконец Великий инквизитор, сосредоточив злобный взгляд трех немигающих глаз на поэте, начал произносить приговор, лишь изредка делая паузы, обозначающие, видимо, отдельные статьи и наказания, которым следовало подвергнуть землянина. Статьи эти не заканчивались, но Элвор почти ничего не понимал, что, возможно, было и к лучшему.

Когда напыщенный альфад замолчал, поэта повели по бесконечным коридорам, а затем вниз по лестнице, уходившей в недра Сатабора. Коридоры и лестница освещались тусклым сиянием, напоминавшим свечение разлагающейся материи в гробницах. Спускаясь вместе со стражами из числа низших аббаров, Элвор слышал доносившиеся откуда-то из-под далеких сводов стоны и вопли несчастных созданий, которых инквизиторы Кунтамози подвергали невообразимым мучениям.

Наконец они добрались до последних ступеней лестницы. Внизу, в центре пола, зияла бездна, дно которой невозможно было различить. На краю стояла лебедка с намотанной на нее огромной бухтой черного каната.

Конец каната обвязали вокруг лодыжек Элвора, после чего инквизиторы спустили его головой вниз в пропасть. Стены здесь, в отличие от коридоров, не светились, и поэт ничего не видел, но чем ниже он опускался, тем ужаснее становилось его неудобство и острее – некие ощущения неясной природы. Ему казалось, будто он проходит сквозь какую-то субстанцию из множества волосков; бесчисленные нити цеплялись за его голову, тело и конечности, словно крошечные щупальца, вызывая острый зуд. Вещество это окутывало его все сильнее, пока он не повис, точно застряв в сети, и тогда множество волосков впились в него миллионом микроскопических зубов, а зуд сменился жжением и глубокой, судорожно пульсирующей, пронзительнейшей болью, сильнее, чем пламя аутодафе. Намного позже поэт узнал, что субстанция, в которую его погрузили, на самом деле представляла собой росший на стене подземный организм, наполовину растение, наполовину животное, с длинными подвижными усиками, чье прикосновение крайне ядовито. Однако в тот момент непонимание природы происходящего стало едва ли не самым страшным из его переживаний.

Провисев какое-то время в мучительной паутине и уже теряя сознание от боли и неестественной позы, Элвор вдруг почувствовал, что его тащат вверх. Тысячи тонких нитевидных щупалец отрывались от тела, причиняя невыносимые страдания. От боли он лишился чувств, а когда очнулся, оказалось, что он лежит на полу у края пропасти и жрец тычет в него многочисленными остриями своего оружия.

Несколько мгновений Элвор разглядывал жестокие лица своих мучителей в тусклом свете стен, смутно размышляя о том, какая адская пытка станет следующей в процессе исполнения объявленного ему бесконечного приговора. Естественно, он предполагал, что испытания, которым он только что подвергся, – это еще цветочки по сравнению с теми, что предстоят, но раздумья эти внезапно прервал оглушительный грохот, будто рушилась и разваливалась на

части вселенная. Пол, стены и лестница раскачивались, будто в конвульсиях, свод обрушился дождем разновеликих каменных обломков, и некоторые сбросили в пропасть нескольких инквизиторов. Остальные инквизиторы сами в ужасе попрыгали через край, а двое оставшихся уже были не в состоянии исполнять свой долг – оба лежали рядом с Элвором с разбитыми головами, из которых вместо крови сочилась густая светло-зеленая жижа.

Элвор понятия не имел, что произошло, – он знал лишь, что сам от катаклизма не пострадал. Ему было не до научных гипотез – от перенесенных мучений его тошнило, кружилась голова, а все тело распухло, покраснело и от укусов горело адским огнем. Ему, впрочем, хватило сил и присутствия духа связанными руками нащарить оружие, брошенное инквизитором. После многих утомительных попыток Элвору удалось одним из пяти острых лезвий перерезать путы на запястьях и лодыжках.

Прихватив с собой оружие, которое, как он подозревал, еще могло ему понадобиться, Элвор зашагал вверх по подземной лестнице. Ступени отчасти завалило обрушившимися камнями, а в некоторых площадках, стенах и лестничных маршах зияли огромные дыры, что основательно затрудняло подъем. Наверху Элвор обнаружил, что от здания остались только разрушенные стены и большая яма посередине, откуда вырывались облака испарений. С неба упал громадный метеорит, уничтоживший инквизицию Космической Матери.

Элвор был не в состоянии оценить всю иронию случившегося, но по крайней мере понял, что у него появился шанс на свободу. Все инквизиторы, которых он видел, лежали раздавленные, их головы и конечности торчали из-под огромных каменных блоков, и Элвор предпочел, не теряя времени зря, обратиться оттуда подальше.

Была ночь, в небе висела лишь одна из трех лун. Элвор тронулся в путь через засушливую необитаемую равнину, лежавшую к югу от Сарпулома, рассчитывая пересечь границу Ульфалора и добраться до одного из независимых королевств южнее экватора. Он помнил рассказы Визафмала: тот как-то раз помянул, что народы этих королевств более просвещенные и менее подвержены влиянию жрецов, чем в Ульфалоре.

Всю ночь Элвор шел, словно в тумане, а порой и в полубреду, страдая от боли в распухших конечностях и начинающейся лихорадки. Залитая лунным светом равнина покачивалась и плыла перед глазами, нескончаемая, как пейзаж из гашишных грез. Наконец взойшли еще две луны, но в своем нынешнем состоянии Элвор даже не мог понять, сколько их на самом деле. В основном ему чудилось, будто их больше трех, и это тревожило его до крайности. Много часов он, шатаясь на ходу, пытался решить эту проблему и наконец перед самым рассветом впал в полное беспамятство.

О дальнейшем путешествии у него не сохранилось никаких воспоминаний. Некая сила гнала его вперед, несмотря на совершенно неживые мышцы и абсолютную пустоту в голове. Позже он не помнил ничего ни о пустынных землях, по которым часами брел сначала под лучами рубиново-алого рассвета, а затем под раскаленным, как печь, дневным солнцем, ни о том, как на закате, по-прежнему сжимая в руке пятиконечное оружие мертвого инквизитора, пересек экватор и вошел в Оманорион, владения императрицы Амбиалы.

IV

Когда Элвор очнулся, была ночь, но он понятия не имел, что это вовсе не та же самая ночь, когда он бежал от инквизиции Космической Матери, и что с тех пор, как он упал без сил и без чувств на границе Оманориона, прошло немало сатабборских дней. В лицо ему светили теплые розовые лучи трех лун, но он не знал, восходят светила или заходят. Так или иначе, он лежал на весьма удобном ложе, не столь неудобно длинном и высоком, как то, на котором он впервые пришел в себя в Ульфалоре. Ложе стояло в открытом павильоне, над ним склонялось множество гротескных, но по-своему прекрасных цветов, что росли на обвивающих колонны

лианах или в расставленных на полу диковинных металлических вазонах. В воздухе ощущалась сладковато-пряная смесь экзотических ароматов, чем-то напоминавших красный жасмин, но они нисколько не тяготили, а напротив, вызывали ощущение глубокой, приятной истомы.

Когда Элвор открыл глаза и повернулся на бок, из-за цветочных ваз вышла женщина-альфад, не столь высокая, как жители Ульфалора, – почти с него ростом, – и обратилась к нему на чужом языке, звучащем мягче и не столь нечеловечески. И хотя Элвор не понял ни слова, он ощутил в ее голосе нотки или оттенок сочувствия, какого никогда не получал ни от кого в этом мире, даже от Визафмала.

Поэт ответил ей на языке Ульфалора и обнаружил, что его поняли. Они продолжили беседу, насколько позволяли лингвистические способности Элвора. Он узнал, что разговаривает с императрицей Амбиалой, самодержавной верховной правительницей Оманориона, обширного королевства, граничащего с Ульфалором. Она рассказала ему, что несколько ее слуг, охотясь на местные дикие, свирепые звероподобные плоды, нашли Элвора без сознания возле зарослей смертоносных растений, где эти плоды росли, и принесли в ее дворец в Ломпиоре, столице Оманориона. Там, пока он неделю лежал без чувств, его лечили медикаментами, которые почти полностью исцелили его болезненные опухоли – подарок волосатых ядовитых организмов из пыточной бездны.

Императрица любезно воздержалась от расспросов и нисколько не удивилась анатомическим особенностям Элвора. Но все в ее поведении свидетельствовало о живом и искреннем интересе: она ни на миг не сводила взгляда с пришельца. Пытаясь скрыть смущение и желая надлежащим образом объясниться со столь добросердечной хозяйкой, он постарался рассказать ей все, что мог, о своей истории и приключениях. Вряд ли она поняла хотя бы половину, но даже этого хватило, чтобы все три ее глаза изумленно округлились; она увлеченно слушала повествование этого поразительного Улисса, а стоило ему замолчать, она тотчас же просила его рассказывать дальше. Гранатовый цвет рассветного неба сменился рубиновым, затем киноварью, но Элвор все продолжал говорить, а императрица Амбиала внимательно слушала.

При полном свете Антареса Элвор увидел, что с сатабборской точки зрения его гостеприимная хозяйка весьма изящна и привлекательна – нежные и мягкие переливчатые оттенки кожи, пышные формы рук и ног, пусть и наличествовавших в обычном для Сатаббора числе. Черты ее лица передавали весьма широкий спектр выражений и чувств, хотя чаще всего она пребывала в грустной задумчивости, причину которой Элвор понял значительно позже, когда, в достаточной степени овладев здешним языком, узнал, что она тоже поэт. Ее постоянно тревожили смутные желания чего-то экзотического и далекого, и ей крайне наскучила жизнь в Оманорионе, особенно местные мужчины-альфады – никто из них не мог по праву похвалиться, что пробыл ее возлюбленным хотя бы день. Вероятно, тайна ее первоначального интереса к Элвору заключалась именно в его биологическом отличии от этих мужчин.

Жизнь поэта во дворце Амбиалы, где его считали постоянным гостем, с первого же дня оказалась куда приятнее, чем в Ульфалоре. Не в последнюю очередь то была заслуга самой Амбиалы, которая произвела на него впечатление куда более умной женщины, чем жительницы Сарпулома, и, в отличие от них, относилась к нему с заботой, симпатией и восхищением. К тому же дворцовые слуги и народ Ломпиора, хотя наверняка и считали Элвора существом весьма необычным, оказались намного терпимее, чем ульфалорцы, и он ни разу не сталкивался с грубостью с их стороны. Более того, если в Оманорионе и существовали жрецы, они отнюдь не отличались той бескомпромиссностью, какую ему пришлось наблюдать к северу от экватора, и, похоже, не было никаких причин их опасаться. Никто в этом идеальном государстве не заводил с Элвором разговоров о религии; собственно говоря, он так и не узнал, есть ли в Оманорионе какие-нибудь боги или богини. Впрочем, помня о муках, на которые обрекла его инквизиция Космической Матери, этой темы он предпочитал не касаться.

Элвор быстро освоил язык Оманориона, поскольку обучала его сама императрица. Он все больше узнавал о ее взглядах и вкусах, о ее романтической любви к тройному сиянию лун и о цветах, которые она выращивала с такой заботой и удовольствием. Цветы эти были редкостью на Сатабборе – одни, напоминавшие анемоны, росли на вершинах неприступных гор высотой во много лиг, а другие, невообразимых форм намного диковиннее, чем у орхидей, произрастали в ужасающих джунглях у южного полюса. Вскоре Элвор удостоился чести услышать игру Амбиалы на местном музыкальном инструменте, сочетавшем в себе флейту и лютню. И наконец, когда он настолько изучил язык, что был в состоянии постичь некоторые его тонкости, она прочла ему со свитка из растительного пергамента одно из своих стихотворений, оду звезде, известной народу Оманориона под названием Атана. Ода эта, поистине изысканная, была насыщена высокими поэтическими фантазиями, и в ней слышалась полная грустной иронии тоска о невозможно далеких, недостижимых надзвездных областях Атаны.

– Я всегда любила Атану, потому что она такая маленькая и находится так далеко, – добавила Амбиала, закончив читать.

Расспросив ее, Элвор, к своему невероятному удивлению, узнал, что Атана – это та самая небольшая звезда, известная в Ульфалоре под названием Арот, которую однажды показал ему Визафмал, пояснив, что это – солнце его, Элвора, родной Земли. Звезда эта была видна лишь в редкие часы безлунной темноты, и даже тогда ее могли разглядеть только те, кто обладал исключительно острым зрением.

Когда поэт поделился этими астрономическими сведениями с Амбиалой, сообщил ей, что звезда Атана – его родное солнце, и рассказал про свою «Оду Антаресу», последовала необычайно трогательная сцена. Императрица обняла его всеми пятью руками и воскликнула:

– Разве ты не чувствуешь, как и я, что мы предназначены друг для друга?

В некотором замешательстве от столь неожиданного проявления чувств, Элвор вынужден был, однако, согласиться с Амбиалой. Несмотря на существенные внешние различия, между ними возникло полное взаимопонимание, какое редко случается даже между представителями одного эволюционного типа. К тому же Элвор вскоре сумел по-новому оценить и прелести ее облика, которые, если честно, поначалу не особо его привлекали. Поразмыслив, он понял, что пять ее рук, три ноги и три глаза – всего лишь избыток тех самых анатомических черт, которым человеческая любовь обычно придает немалое значение. Что касается радужной расцветки, то она куда симпатичнее, чем мешанина нелепых оттенков, украшавших образ человеческой женщины на многих картинах модернистов.

Когда в Ломпиоре стало известно, что Элвор – возлюбленный Амбиалы, никто не выразил ни особого удивления, ни осуждения. Несомненно, местные жители, особенно мужчины-альфады, которые тщетно добивались расположения императрицы, сочли ее вкусы странными, если не сказать эксцентричными. Но так или иначе, никто не сказал ни слова: в конце концов, это же ее любовь и никого другого она не касалась. Судя по всему, народ Оманориона в полной мере овладел свойственным обществу сверхцивилизации искусством не лезть в чужие дела.

Метаморфоза мира

I

В 2197 году появилось первое известие об угрозе всемирного масштаба, которое осталось незамеченным, ибо то был всего лишь газетный репортаж из Сахары о песчаной буре невиданной прежде силы. Сообщалось о полном исчезновении некоторых оазисов и гибели нескольких караванов во время чудовищного урагана, который достигал двенадцати тысяч футов в высоту и опустошил территорию площадью во многие сотни квадратных миль. Из оказавшихся на его пути не выжил никто, и не было найдено никаких следов пропавших караванов. В последующих заметках сообщалось, что в пострадавших регионах в течение нескольких недель после первоначального катаклизма наблюдалось множество менее значительных атмосферных возмущений, и пустынные племена пребывали в суеверном страхе, веря, что надвигается конец света. Но внимание мира постепенно занимали новые, более сенсационные и, вероятно, более важные события, и даже самые опытные и проницательные ученые не придали случившемуся какого-то особого значения.

Ближе к концу того же года пришло новое известие из Сахары, на этот раз столь странное и необъяснимое по своей сути, что оно немедленно разожгло любопытство многих ученых, которые тотчас же организовали экспедицию с целью выяснить все обстоятельства. Караван из Тимбукту, первым рискнувший последовать по пути великой бури, вернулся через неделю; участники его, от ужаса полубезумные, бессвязно рассказывали о неисчислимых и необъяснимых переменах, что происходили по всей пострадавшей от стихии местности. По словам караванщиков, длинные песчаные дюны полностью исчезли, сменившись твердой почвой и минеральными образованиями, каких никто никогда прежде не видел. Почва покрылась большими влажными пятнами вещества, похожего на фиолетовую глину, которые испускали ядовитую вонь, способную свалить с ног любого, кто осмеливался по ним пройти. На поверхности наблюдались обнажения породы, огромные выступы и даже холмы, состоявшие из камня и металлов. Камень этот в основном имел кристаллическую структуру красного, черного, синего и темно-зеленого цвета, а белый металл переливался радужными разводами. Караванщики клялись, что прямо у них на глазах из земли поднимались громадные валуны, по краям обраставшие друзами кристаллов. Люди рассказывали, что над всей изменившейся местностью постоянно висит плотный туман, закрывающий солнце, но, несмотря на это, там стоит страшная жара, усугубляющаяся невыносимой влажностью. Еще одна странность заключалась в том, что песок на территории, непосредственно прилегавшей к этой местности, стал мелким, как пыль, и с каждым шагом верблюдов поднимался высоко в воздух, окутывая их почти полностью. Караванщики полагали, что Иблис, магометанский Сатана, решил основать на земле свое царство и заранее создает для себя и своих демонов подходящую почву и атмосферу, подобные его родной преисподней. С тех пор все обходили эти края стороной до прибытия ученых-исследователей во главе с Роджером Лэпэмом, самым знаменитым американским геологом того времени.

II

Лэпэм и его экспедиция, в состав которой входили несколько прославленных химиков и коллег-геологов, наняли два самолета, и путешествие в Тимбукту, где они сделали остановку, чтобы лично расспросить вернувшихся караванщиков, заняло всего несколько часов.

К странной истории добавились новые неожиданные подробности: ученые узнали, что за время, прошедшее с последнего сообщения, восемь из двенадцати местных жителей, с которыми они желали встретиться, опасно заболели. Пока что никому не удавалось диагностировать их болезнь, сопровождавшуюся необъяснимым сочетанием незнакомых симптомов. Симптомы эти были довольно разнообразными и несколько различались в каждом отдельном случае, хотя острые дыхательные и психические расстройства были общими для всех. Несколько человек проявляли признаки маниакальной страсти к убийству, которую не могли реализовать из-за физической слабости; другие пытались покончить с собой во внезапных приступах меланхолии или страха, а у шестерых из восьми наблюдались своеобразные повреждения кожных покровов, напоминавшие проказу, за исключением того что быстрорастущие пораженные места были ярко-зелеными с пурпурными краями, а не белыми. Повреждения легких походили на последствия вдыхания ядовитого газа и сопровождались быстрым разложением тканей. Двое больных умерли вечером того же дня, когда Лэпэм и его товарищи прибыли в Тимбукту, а к следующему полудню заболели оставшиеся четверо, до этого выглядевшие вполне здоровыми. У них проявились те же симптомы, что у остальных, и вдобавок потеря координации движений и странное глазное расстройство, лишавшее способности видеть при дневном свете, хотя в остальное время их зрение оставалось нормальным. У них, как и у большинства других пострадавших, развился некроз, охвативший всю костную структуру тела, и через два дня все они были мертвы.

Лэпэм и его собратья-ученые успели поговорить с несчастными и постарались сделать то небольшое, чем можно было облегчить их муки. Но им не удалось узнать ничего сверх изложенного в новостях, за исключением того, что караванщики считали причиной своей болезни контакт с необычной глиной и минералами, на которые они наткнулись посреди Сахары. Те, кто рискнул зайти дальше в странную зону, заболели первыми.

Ученым стало ясно, что запланированные исследования могут нести в себе серьезную опасность для здоровья. Один из самолетов немедленно отправили в Англию за противогазами, кислородом и полными изолирующими костюмами, которые защищали от всех известных тогда науке форм опасного радиоактивного излучения.

После того как самолет вернулся с необходимым снаряжением, путешествие в Сахару продолжилось. Следуя на высоте в тысячу футов над северным караванным путем в сторону Ин-Салаха и Гадамеса, ученые вскоре оказались над пустыней Эль-Джуф, среди золотисто-желтых дюн которой, как им говорили, лежала пострадавшая от бури область.

Глазам их предстало странное зрелище. Далеко на горизонте виднелась низко висящая масса облаков или тумана – почти беспрецедентное явление в этом засушливом регионе. Жемчужно-серые облака покрывали не только сотни лиг холмистых песков – или того, что когда-то было песком, – но, казалось, вторгались и в каменистую выветренную местность к востоку от Эль-Джуфа. Пока самолеты не приблизились на несколько миль к туманной массе, не было видно никаких геологических изменений. Затем внизу, едва различимые в клубах испарений, промелькнули фиолетовая почва и отложения минералов, которые описывали местные жители.

Прежде чем совершить посадку, ученые медленно пролетели над областью испарений, пытаясь определить их протяженность и плотность. Оказалось, что туманная масса имеет форму круга диаметром по меньшей мере в сотню миль. Ее ровная и однообразная поверхность, вовсе лишенная разрывов или аномалий, ослепительно сверкала в лучах солнца.

Облетев облачную массу кругом, экспедиция высадилась возле южного ее края и разбила лагерь. День только начинался, поскольку вылетели они рано, и Лэпэму с товарищами не терпелось незамедлительно приступить к исследованиям. Облачившись в противогазы и изолирующие костюмы с кислородными баллонами, экспедиция в полном составе двинулась в путь.

Вскоре им встретился мелкий, похожий на пыль песок, о котором говорили караванщики. При каждом шаге люди утопали в нем по пояс, но песок был столь легкий, что почти не мешал

идти. Любое движение поднимало в воздух громадное облако мелкой пыли, которому, как они уже успели убедиться, требовалось несколько часов, чтобы снова осесть. Никто из ученых никогда прежде не видел ничего подобного, и химики не могли дожидаться, когда им представится возможность провести анализ.

Наконец, после долгих блужданий в облаках пыли, сквозь которые ничего не было видно, Лэпэм с товарищами выбрались на край странной фиолетовой почвы. Контраст между влажной дымящейся глиной и окружавшей ее мельчайшей, едва ли не атомарной пылью выглядел столь необъяснимо и ошеломительно, что любые догадки и гипотезы лишались смысла. Вещество этой почвы, казалось, имело сверхъестественную природу, от него исходил невыносимый жар. Ученые успели вспотеть в своих тяжелых герметичных костюмах, пересекая пылевую зону, но только теперь начались настоящие мучения.

Изумление их росло с каждым шагом, ибо под облаками простирался сумрачный, не виданный никем прежде пейзаж. Вдали высились гигантские кристаллические каменные выступы, и в этих кристаллах, даже если не обращать внимания на их необычайную черную, синюю, красную и темно-зеленую расцветку, ощущалось нечто не поддающееся никакой геологической классификации. Размеры их были чудовищны, а количество граней и сложная геометрическая структура – совершенно не характерны для любых нормальных горных пород. В них чувствовалась зловещая жизненная сила, и рассказы караванщиков, видевших, как они росли и разбухали, звучали теперь почти умопостижимо. Каким-то образом эти кристаллы и минералы напоминали живые организмы. Повсюду виднелись описанные ранее обнажения белого переливающегося металла.

По мере продвижения экспедиции кристаллические выступы становились все выше, нависая над головой, подобно обрывистым скальным утесам; исследователи пробирались среди них петляющей извилистой тропой. Вид каменных структур поражал воображение, – казалось, будто рогатые скалы принадлежат какому-то другому миру, ничем не напоминающему Землю.

Продолав путь среди узких трещин, вдоль краев хрупких обрывов, где рискован был каждый шаг, они вышли из скал на уступчатый берег озера с черно-зеленой водой, простирающегося в неопределенную даль. Лэпэм, который шел впереди, почти затерявшись в клубах поднимающегося тумана, внезапно вскрикнул; подойдя ближе, остальные увидели, что он склонился над странным растением с бледным грибообразным стеблем и широкими пальчатыми листьями цвета багровой плоти, испещренными серыми пятнами. Вокруг него из земли выступали розоватые губы растений помоложе, что, казалось, увеличивались прямо на глазах у изумленных исследователей.

– Что это, во имя всего святого?! – вскричал Лэпэм.

– Насколько я понимаю, ничего подобного на Земле существовать не может, – ответил Сильвестр, химик, чьей второй специальностью была ботаника.

Все собрались вокруг загадочного растения, пристально его разглядывая. Листья и стебли необычной волокнистой структуры были пронизаны множеством глубоких пор, подобно кораллу. Но когда Лэпэм попытался отломить часть, оказалось, что плоть растения довольно-таки жесткая и упругая, – чтобы отделить ветку, потребовался нож. От прикосновения ножа растение извивалось и корчилось, а когда операция наконец завершилась, из разреза медленно потек сок, цветом и консистенцией удивительно напоминавший кровь. Отрезанную часть поместили в рюкзак для последующего анализа.

Ученые направились к воде и там обнаружили несколько растений иной разновидности, напоминающих гигантские хвои или тростник. Высота их составляла около двадцати футов, они были разделены на дюжину сегментов с тяжелыми распухшими сочленениями. Листья у них отсутствовали, а цвет варьировался от пурпурно-свинцового до белого с зелеными тенями и прожилками. Несмотря на безветрие, все они слегка покачивались, издавая звук, подобный

змеиному шипению. Подойдя ближе, Лэпэм и его коллеги увидели, что тростники покрыты похожими на губы образованиями, напоминавшими присоски осьминога.

Когда Сильвестр, шедший теперь впереди, приблизился к одному из этих растений, оно внезапно качнулось вперед и с гибкостью и проворством питона опутало химика кольцами. Сильвестр в ужасе закричал, чувствуя, как эти кольца стягиваются вокруг него, и остальные, в первый миг оцепеневшие от такой странности, тотчас же бросились на помощь. У некоторых были складные ножи, которые они тут же пустили в ход, освобождая товарища. Лэпэм и двое химиков принялись рубить и пилить жуткие кольца, которыми тростник продолжал сдавливать конечности и тело беспомощного человека. Растение оказалось удивительно жестким и неуступчивым, и нож Лэпэма сломался прежде, чем ему удалось перепилить растительное кольцо наполовину. Товарищам его повезло больше, и по прошествии некоторого времени дьявольский тростник оказался перерезан в двух местах, в том числе недалеко от корня. Но кольца продолжали сжимать своего пленника, и тот внезапно побледнел и обмяк, а когда его коллеги завершили начатое, свалился к их ногам в глубоком обмороке. Некоторые из похожих на присоски образований проникли сквозь изолирующий костюм Сильвестра и вгрызлись в тело. Извивающиеся кольца постепенно срезали, но с присосками в отсутствие хирургических инструментов пока ничего нельзя было поделать. Стало ясно, что Сильвестра нужно как можно быстрее доставить обратно в лагерь. По очереди неся бесчувственного ученого, исследователи вернулись назад по собственным следам среди утесов и разноцветных кристаллов, вдоль дымящихся испарениями обрывов и пропастей, через зону атомарной пыли, пока наконец, измотанные и напуганные, не вышли к природной пустыне. Несмотря на спешку, они все-таки прихватили с собой несколько образцов кристаллов, белого переливающегося металла и фиолетовой почвы, а также фрагментов питонообразного тростника для дальнейшего изучения, немало сожалея, что не смогли набрать воды из черно-зеленого озера. После того, что случилось с химиком, никто не отважился бы вновь отправиться к берегу сквозь окаймляющие его тростниковые заросли.

Сильвестру требовалась немедленная помощь, поскольку он выглядел бледным и обескровленным, словно жертва вампира, а пульс его был медленным и слабым до неразличимости. Его раздели и уложили на импровизированный операционный стол. Теперь стало видно, что те места на его теле, куда впились присоски, побагровели и страшно распухли, что лишь усложняло задачу по удалению присосок. Ничего не оставалось, кроме как попросту их вырезать; Сильвестру дали опий, что вряд ли требовалось в данных обстоятельствах, и доктор Адамс, врач экспедиции, провел операцию. Очевидно, Сильвестр был сильно отравлен, поскольку даже после того, как присоски удалили, пораженные места продолжали распухать, а вскоре появилась черная гниль, угрожавшая охватить все тело. Сильвестр так и не пришел в себя, хотя ночью начал метаться и что-то бормотать в бреду. Потом он впал в кому, из которой так и не вышел. В десять часов утра доктор Адамс объявил, что Сильвестр мертв. Похоронить его пришлось сразу же, ибо тело его мало отличалось от недельной давности трупа.

Судьба химика повергла всю экспедицию в крайнее уныние, но все прекрасно понимали, что начатой работе ничто не должно помешать. Как только несчастный Сильвестр упокоился в поспешно вырытой могиле среди песков Сахары, его коллеги сразу же приступили к изучению образцов: их исследовали под мощными микроскопами и подвергли тщательному химическому анализу. В образцах было обнаружено много известных составляющих, но они соединялись с элементами, для которых земная химическая наука не могла даже подобрать подходящего названия. Молекулярная структура кристаллов оказалась более замысловатой, чем у любого известного на Земле вещества, а металлы были тяжелее любых открытых на сегодняшний день. Клеточное строение двух растительных форм напоминало строение клеток животных, на основании чего был сделан вывод, что они являются промежуточным звеном между царствами животных и растений, обладая характеристиками обоих. Вопрос, каким

образом подобные растения и минералы могли внезапно появиться в столь неподходящем даже для обычных форм жизни месте, стал темой бесконечных споров между Лэпэмом и его коллегами. Некоторое время никто не мог выдвинуть достаточно правдоподобную теорию. Помимо прочего, озадачивала зона тончайшей пыли, окружавшая изменившуюся область, – как выяснилось, пыль эта состояла из фрагментов частично разрушенных молекул песка.

– Такое впечатление, – сказал Лэпэм, – будто кто-то взорвал в этой части Сахары всё, а затем начал новый процесс эволюции, с возникновением и развитием почвы, воды, минералов, атмосферы и растений, какие никогда не могли бы существовать на Земле в любой из геологических эпох.

После всестороннего обсуждения его ошеломительной теории все наконец согласились, что это единственное хоть сколько-нибудь правдоподобное объяснение. Оставалось определить причину геологических и эволюционных изменений, и, естественно, на этот счет никто не смог предложить ничего убедительного. Увиденного вполне хватило бы, чтобы потрясти воображение Жюль Верна, но в рассуждениях истинных ученых, какими были Лэпэм и его коллеги, не находилось места для фантазий. Для этих людей существовало лишь то, что можно проверить и доказать, основываясь на законах природы.

По прошествии нескольких дней, посвященных анализам и построению теорий, участники экспедиции составили отчет о находках и решили отправить его по радио в Европу и Америку. Но при попытке воспользоваться имевшейся у экспедиции радиостанцией выяснилось, что окутанная туманом область создает сплошные помехи. Через нее нельзя было ни отправить, ни принять ни одно сообщение, хотя связь прекрасно устанавливалась с местами, не находившимися на одной прямой со странной зоной: Римом, Каиром, Петроградом, Гаваной, Новым Орлеаном. Помехи были постоянны – во всяком случае, множество попыток установить связь в любое время дня и ночи не принесли результата. Самолет с радиостанцией на борту поднялся на высоту в девять тысяч футов над лагерем и попытался установить желанную связь, но тщетно. Самолету пришлось пересечь всю облачную массу до ее северного края, и лишь тогда Нью-Йорк и Лондон смогли принять сообщение и ответить на него.

– Можно подумать, – заметил Лэпэм, – будто над этой частью Сахары включили некий сверхмощный луч, препятствующий прохождению радиоволн. Очевидно, что это некая искажающая силовая экранировка.

Пока продолжались споры насчет обоснованности данной теории, насчет природы и происхождения загадочных лучей, а также их возможной связи с геологическими изменениями, двое членов экспедиции пожаловались на плохое самочувствие. Их осмотрел доктор Адамс, и оказалось, что симптомы их болезни напоминают те, что обнаружились у многих караванщиков из Тимбукту. Характерные ярко-зеленые пятна с пурпурными краями быстро распространялись по их рукам и плечам, а вскоре охватили все открытые участки кожи. Через несколько часов у обоих начался бред, проявились признаки нервной подавленности. Одновременно с этим витком их заболевания и сам доктор Адамс почувствовал внезапное недомогание. Судя по всему, изолирующих костюмов, которые носили исследователи, оказалось недостаточно, чтобы в полной мере защитить их от смертоносных сил, таившихся в новой почве, минералах и насыщенной испарениями атмосфере. Было решено вернуться к цивилизации немедленно, прежде чем болезнь поразит остальных.

Лагерь свернули, и два самолета взяли курс на Великобританию. Во время короткого полета признаки заболевания начали проявляться у всех ученых, а пилот одного из самолетов потерял сознание, и неуправляемое воздушное судно рухнуло в Атлантический океан недалеко от побережья Испании. Заметив аварию, экипаж второго самолета отважно поспешил на помощь. Им удалось спасти барахтавшихся в воде Лэпэма и доктора Адамса, но все их товарищи, включая заболевшего пилота, утонули, и в Лондоне приземлились лишь жалкие остатки экспедиции.

III

Тем временем отчет исследователей, с таким трудом отправленный по радио, опубликовали во всех ведущих газетах мира, вызвав всеобщий интерес среди научного сообщества. Пресса была полна теорий и предположений, вплоть до совершенно диких и фантастических. Один журнал зашел столь далеко, что намекнул, будто происходящее в Сахаре – часть плана мирового господства, введенного в действие Объединенной Восточной Федерацией, включавшей в то время Китай, Индокитай, Бирму и Японию; другие были склонны считать зачинщиком Германию.

В тот же день, когда Лэпэм и его товарищи добрались до Лондона, из Соединенных Штатов пришли новости об ужасном катаклизме, случившемся в Миссури и охватившем половину штата. Хотя была середина зимы и землю покрывал снег, здесь внезапно разразилась чудовищная пылевая буря, в буквальном смысле поглотившая многие города, включая Сент-Луис. Вся связь с этими городами прервалась, и ни одно сообщение или живое существо так и не смогло покинуть пределы территории, охваченной бурей. Над землей на громадной высоте повисли большие клубящиеся облака, из которых доносился звук, похожий на раскаты грома или взрывы бесчисленных тонн динамита. Невероятно мелкая пыль осела на многие мили в окрестностях, и в течение долгих дней ничего нельзя было сделать или хотя бы понять, что происходит, поскольку любой, кто осмеливался приблизиться к бушующей буре, тотчас же пропадал и больше не возвращался. Страх перед беспримерным таинственным катаклизмом, недоступным пониманию или воображению, черным покрывалом опустился на Соединенные Штаты и поверг в ужас весь цивилизованный мир. Оставшаяся после бури пыль, которую сразу же подвергли анализу, состояла из частично разрушенных молекул, и ученым, репортерам и общественности не потребовалось особой фантазии, чтобы связать катастрофу с песчаной бурей, породившей неземной ландшафт в Сахаре.

Лэпэм и его коллеги узнали эти новости в больнице, куда их забрали прямо с самолета. Некоторые члены экспедиции были слишком больны, чтобы осознать происшедшее, но Лэпэм и доктор Адамс, пострадавшие меньше других, незамедлительно прокомментировали сообщение из Америки.

– Полагаю, – сказал Лэпэм, – что речь идет о начале некоего космического процесса, который может угрожать целостности и даже самому существованию нашего мира, – по крайней мере, того мира, который мы могли бы назвать нашим, где могут выжить представители человечества. Могу прогнозировать, что через несколько недель в Миссури проявятся и распространятся те же геологические и атмосферные условия, что мы обнаружили в Сахаре.

Его пророческие слова, произнесенные перед репортерами «Таймс» и «Дейли мейл», сразу же стали достоянием публики, что лишь обострило общемировую тревогу и страх, и без того немалые.

Пока сообщения о продолжающейся атомарной буре повергали в смятение пять континентов, несколько вернувшихся исследователей умерли от неизвестной болезни с теми же симптомами, что отмечались у несчастных караванщиков из Тимбукту, за исключением расстройства органов дыхания, от которого участников экспедиции, очевидно, спасли кислородные маски. Все остальное повторилось: крайняя слабость, меланхолия, зеленые пятна проказы на коже, утрата координации, частичная слепота, некроз костей; мучений их не мог облегчить никто из врачей, в числе которых были выдающиеся специалисты из Великобритании, Франции и Америки. Из всей экспедиции выжили только Лэпэм и доктор Адамс, но и они так и не смогли полностью оправиться от болезни. До конца своих дней оба страдали от депрессии и рецидивов кожных заболеваний. К числу странных последствий случившегося можно было отнести и тот факт, что подобный же недуг, хотя и в более легкой форме, поразил многих

ученых, исследовавших доставленные экспедицией из Африки образцы минералов и растений. Никому так и не удалось определить причину заболевания, однако была выдвинута гипотеза, что необычные вещества испускают лучи в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне, намного мощнее, чем любые известные науке. Лучи эти, со всей очевидностью, оказались пагубны и вредоносны для человеческого здоровья и жизни.

Пока Лэпэм и доктор Адамс лежали в больнице, из Америки поступали свежие новости. В частности, сообщалось, что два самолета под управлением знаменитых во всем мире авиаторов пытались пролететь над чудовищной песчаной бурей, продолжавшей бушевать в Миссури. Высота ее, как и в Сахаре, составляла около двенадцати тысяч футов, и казалось, что пересечь ее не составит труда – достаточно лишь подняться повыше; заодно предполагалось, что там удастся собрать какие-нибудь ценные данные. Прежде чем приблизиться к границе бури, самолеты поднялись на тринадцать тысяч футов, но, пролетев над ее краем, оба внезапно исчезли прямо в воздухе, на глазах у наблюдавших за их полетом в бинокли. Ни один самолет так и не вернулся, и никаких следов их найти не удалось.

– Глупцы! – воскликнул Лэпэм, услышав новость об их исчезновении. – Естественно, войдя в вертикальную зону бури, они подверглись воздействию тех же разрушительных сил, что и земля внизу. И подозреваю, силы эти исходят из космоса. Самолеты и их пилоты превратились в субмолекулярную пыль.

Попытки пересечь бурю больше не предпринимались; люди бежали из прилегающих районов. Только несколько достойных уважения ученых пожелали остаться, чтобы провести исследования местности после того, как стихия утихнет.

Через неделю высота и ярость бури начали уменьшаться, облака постепенно рассеивались. Но как и в случае африканского бедствия, небольшие волнения атмосферы и восходящие вихревые потоки воздуха продолжались еще около недели, а затем весь регион оказался окутан жемчужно-серой тучей сплошных испарений, и зимний снег на милю вокруг покрыла субмолекулярная пыль.

Когда туман поднялся выше и стало ясно, что процесс распада подошел к концу, несколько ученых, несмотря на страшную судьбу, постигшую караван из Тимбукту и геологическую экспедицию, отважились проникнуть в зону вокруг Сент-Луиса. Они обнаружили там такую же экзотическую почву, те же минералы, кристаллы и воду, что и в сердце пустыни Эль-Джуф, но неземные растения пока еще не начали появляться. Некоторое количество воды взяли для анализа, и оказалось, что в ней содержится некий элемент, похожий на недавно разработанный для военных целей смертоносный синтетический газ. Однако элемент этот не разлагался на отдельные компоненты, из которых американские химики создали его аналог. Удалось выделить еще одну газообразную составляющую, но она не имела ничего общего с известными химии веществами. Едва анализ завершился и его результаты стали известны миру, проводивших его химиков и бравших пробы воды исследователей поразила болезнь, несколько отличавшаяся от той, жертвами которой стали их предшественники из Сахары. Кроме всех прочих, уже известных симптомов, она сопровождалась выпадением волос на голове, лице, конечностях и туловище пострадавших, пока они не лишились даже тончайшего пушка. Затем места, где до этого были волосы, покрылись серой субстанцией, напоминавшей плесень. Анализ показал, что она состоит из крошечных растительных организмов, которые невероятно быстро размножились и вскоре начали пожирать кожу и плоть. Ни один антисептик не мог справиться с буйством серой плесени, и жертвы умерли в жестоких мучениях через несколько часов. Было высказано предположение, что причиной новых симптомов является вода, вызвавшая некую инфекцию; но как могло произойти инфицирование, оставалось тайной, поскольку при обращении с водой принимались все возможные меры предосторожности.

Незадолго до смерти этих мужественных исследователей были сделаны два необычных астрономических открытия. Теория Лэпэма о направленных на Землю сверхмощных лучах, испускаемых неким невидимым источником, стала поводом для интенсивного изучения соседних планет, в особенности Марса и Венеры, при помощи новых телескопов с четырехсотдюймовыми отражателями, которыми были оборудованы обсерватории в Колорадо и Пиренеях. Предполагалось, что лучи могут исходить с одной из этих планет. К тому времени уже не оставалось сомнений, что Марс обитаем, но о Венере не было известно почти ничего из-за окружавшего ее плотного облачного покрова. Однако теперь благодаря постоянному тщательному наблюдению за планетой были замечены три вспышки белого света, продолжавшиеся около девяноста секунд с интервалом в семьдесят минут, в области, располагавшейся недалеко от экватора Венеры. Все три вспышки исходили из одного и того же места. Чуть позже в ту же ночь доктор Малкин из обсерватории в Колорадо, несмотря на то что весь его интерес был сосредоточен на находившейся почти в зените Венере, случайно заметил на краю поля зрения крошечный спутник или астероид, вращавшийся вокруг Земли. Последующие наблюдения привели к сенсационному открытию: новый спутник находился на расстоянии не больше тысячи миль от поверхности Земли и располагался в точности над штатом Миссури! Расчеты показали, что диаметр его составляет около двухсот футов.

О двух открытиях доктора Малкина объявили миру, а на следующий день пришло известие из обсерватории в Пиренеях, которая обнаружила еще одно крошечное небесное тело далеко на юге, в точности над окутанной туманом местностью в Северной Африке. Размером, траекторией и расстоянием до Земли оно ничем не отличалось от спутника над Америкой. Обе новости вызвали немалое волнение общественности; строилось множество гипотез о происхождении и сущности необычных тел, чье расположение позволяло связать их с геологическими явлениями на расположенных под ними участках земной поверхности. Однако именно Роджер Лэпэм предсказал, что за тремя вспышками на Венере, которые наблюдал доктор Малкин, вскоре последует появление еще трех спутников и три новые пылевые бури в разных частях света.

– Полагаю, – сказал Лэпэм, – что эти спутники представляют собой запущенные с Венеры искусственные технические объекты, в которых находятся живые существа и аппаратура для создания и использования разрушительных и воссоздающих материю лучей, вызвавших такие необычные явления в Африке и Америке. Вспышки, которые видел доктор Малкин, несомненно, связаны с запуском новых спутников. И если бы Венера находилась под постоянным наблюдением новых телескопов, можно было бы увидеть и две предыдущие вспышки, одна из которых предшествовала атомной буре в Африке, а другая – в Америке. Но я не понимаю, отчего эти две сферы никто не замечал ранее, ведь вполне вероятно, что они находились в поле видимости телескопов с самого начала бури.

IV

Мнения насчет обоснованности теории Лэпэма о происхождении спутников разделились как среди ученых, так и среди общественности, но ни у кого больше не оставалось сомнений в том, что спутники эти напрямую связаны с пылевыми бурями и появлением новых ландшафтов. Наблюдения показали, что два спутника имеют разный цвет: африканский отличался красноватым оттенком, американский – голубым. Но две ночи спустя после своего первоначального открытия доктор Малкин вдруг увидел, как второй спутник приобрел красноватый оттенок своего африканского собрата. Услышав об этом, Лэпэм рискнул предположить, что изменение цвета сферы каким-то образом связано с природой испускаемых ею лучей и, вероятно, голубой цвет соответствует лучу, стимулирующему возникновение минеральных образований, а красноватый – развитию растительной жизни.

– Мне кажется, – говорил он, – что обитатели Венеры пытаются создать в определенных районах нашей планеты геологические, ботанические и атмосферные условия, которые преобладают в их собственном мире. Процесс, несомненно, предшествует попытке вторжения – венериане, вероятно, точно так же не могут существовать в пригодных для нас условиях, как мы не могли бы существовать в их мире. Соответственно, прежде чем прилететь на Землю, они вынуждены создать для себя подходящую среду обитания, в которой смогут высадиться их колонисты. Горячая дымящаяся почва и насыщенная испарениями атмосфера, обнаруженные нами в Сахаре и Миссури, наверняка подобны венерианским.

Некоторые до сих пор не могли поверить или по-настоящему осознать происходящее, но после того, как стало известно о гипотезе Лэпэма, мир захлестнула волна ужаса. С этого момента холодные рассуждения Лэпэма и других ученых шли рука об руку со вспышками отчаянного страха и религиозной истерии со стороны масс. Никто не мог знать, когда и где нанесет очередной удар чудовищная инопланетная угроза и насколько широко распространится ее влияние. Страшное ожидание деморализовало человечество, почти вся деятельность остановилась. Лишь ученые, астрономы, химики, физики, изобретатели, электротехники и медики продолжали трудиться, и даже быстрее, чем обычно. По всему миру в лабораториях началась активная работа по поиску лекарств, способных побороть новые болезни, вызванные контактом с венерианскими минералами, воздухом, водой и растительностью, и, несмотря на опасность, совершалось немало вылазок в затянутые испарениями регионы с целью добыть необходимые вещества для изучения их в различных лабораториях. История последовавших за этим смертей и страданий пространна и печальна, однако свидетельствует о беспримерном героизме ученых Земли. Ряд изобретателей, давно искавших секрет разделения и последующего преобразования молекул и атомов в значительных масштабах, удвоили свои усилия в надежде дать человечеству возможность противостоять вероятному превращению больших территорий Земли в чужеродные структуры.

Спустя четыре дня после публикации последнего пророчества Лэпэма пришло известие о трех предсказанных им новых бурях, случившихся с интервалом меньше часа. Первая буря началась в Месопотамии, вздымающимися колоннами неистовых смерчей мельчайшей пыли накрыв Багдад и Мосул. Река Тигр утекала в область бури, но к югу от урагана ее течение моментально прекратилось, и вскоре она обернулась сухим руслом до самого слияния с Евфратом. Вторая буря случилась в Шварцвальде, в Германии, а третья – в бескрайних пампасах Аргентины. Телескопы в Пиренеях и во многих других обсерваториях обнаружили над Германией новый спутник серно-желтого оттенка. Спутник над Месопотамией находился слишком далеко, и его не могли увидеть европейские астрономы, однако ученым из двух обсерваторий в Андах удалось отыскать аргентинский спутник, тоже серно-желтый. Вероятно, цвет этот имел отношение к выработке и применению разрушающего луча.

Сообщения о новых бурях и спутниках, естественно, лишь подстегнули нарастающую по всему миру панику. Бесчисленные толпы бежали из окрестностей трех пострадавших регионов, что привело к серьезным социальным и экономическим потрясениям. Некоторые отрасли промышленности оказались практически парализованы, воздушное, наземное и водное сообщение ощутимо нарушилось, биржи по всему миру пришли в замешательство из-за внезапного обесценивания устойчивых акций. Даже на раннем этапе венерианское вторжение повлекло за собой немало далеко идущих и порой неожиданных последствий, повлиявших на все области человеческой жизни.

За всеми видимыми спутниками продолжали пристально наблюдать. На следующую ночь после открытия серно-желтого шара над Шварцвальдом обнаружилось, что красноватый спутник над Сахарой исчез, и никто не мог понять, куда он делся, пока из Тимбукту и Гадамеса не дошли слухи о странном метеоре, упавшем среди бела дня в область туманных испарений посреди пустыни Эль-Джуф. Падение наблюдали несколько караванов, и с большого расстоя-

яния было видно, как метеор с нарочитой медлительностью точно по вертикали опускался с неба. Согласно полученным данным, снижался он почти минуту, а затем скрылся в тумане. Был он круглый, ярко-серебристого цвета и не оставлял обычного огненного следа, свойственного большому метеору. Жители пустыни сочли его знаменем, предвещавшим явление Иблиса и его демонов.

– Приземлилась первая венерианская колония! – воскликнул Лэпэм, когда узнал об этих слухах. – Несомненно, они завершили свой искусственно начатый эволюционный процесс или довели его до той стадии, когда, с их точки зрения, африканская территория стала пригодной для их обитания.

Пока большая часть человечества была охвачена страхом, а ученые оживленно рассуждали о природе венериан, применяемых ими лучах и о том, каким образом их сферы движутся в космосе и висят над Землей, не смыкавшие глаз астрономы в Колорадо и Испании зафиксировали на Венере новые вспышки – девять в одну ночь и еще девять в следующую, с обычными интервалами. Другие, вероятно, произошли в светлое время суток, поскольку по всему миру в течение пяти дней появилось не менее тридцати сообщений о новых бурях. Многие бури происходили в областях, примыкавших к уже пострадавшим регионам, – целью их было расширение территории; другие были разбросаны по разным местам, образуя независимые центры для дальнейшей экспансии. Три бури случились в Австралии, семь в Африке, шесть в Европе, шесть в Азии, пять в Соединенных Штатах и три в Южной Америке. Над опустошенными районами астрономы обнаружили множество новых спутников, все серно-желтого оттенка. Нанесенные ими разрушения повергали в ужас – больше десятка крупных городов и сотни населенных пунктов поменьше в густонаселенных регионах рассыпались в пыль. В одно мгновение перестали существовать Берлин, Вена, Флоренция, Тегеран, Иерусалим, Кабул, Самарканд, Чикаго, Канзас-Сити, Сент-Пол и Питсбург. Полоса разрушений протянулась в Аргентине до Буэнос-Айреса, а в Северной Африке – до самого озера Чад, которое превратилось в облако пара высотой в двадцать тысяч футов, соединившееся с клубами пылевого вихря из мельчайших частиц разрушенного песка. Несмотря на всеобщий ужас и замешательство, было отмечено, что почти все бури происходят в регионах, отдаленных от морского побережья. Лэпэм, к которому обратились за разъяснениями, сделал следующее заявление:

– Происходящий процесс неизбежно должен быть медленным и постепенным, если учесть его гигантские масштабы, и для его завершения наверняка потребуются многие годы. В качестве стартовых точек геологических и климатических метаморфоз венериане выбрали регионы, расположенные в глубине суши, поскольку создаваемая над этими регионами новая атмосфера с меньшей вероятностью подвергнется воздействию земных океанов. Но если я не ошибаюсь, рано или поздно атаке подвергнутся и моря, которые будут испарены и конденсированы вновь с добавлением элементов, благоприятствующих поддержанию состава венерианского воздуха. Повсеместное распространение этого процесса с учетом содержащихся в новом воздухе ядовитых газов станет фатальным для всей оставшейся животной, а возможно, и растительной жизни земного происхождения, даже если геологические изменения останутся незавершенными.

V

Тридцати новым бурям сопутствовали всеобщая паника и абсолютное безумие. Из окрестностей всех пострадавших центров к побережьям пяти континентов устремились бесчисленные толпы народа. Весь мировой транспорт, как водный, так и воздушный, был загружен мужчинами, женщинами и детьми, которые бежали от угрожавшей планете гибели; те, кому не повезло найти место на корабле, прыгали в воду сами, или их стлкнувала туда с причалов, обрывов и пляжей наседающая сзади толпа. Люди тонули тысячами, но поток охваченных

ужасом беженцев не иссякал день и ночь, по мере того как появлялись все новые смертоносные спутники и начинались все новые бури. Город за городом, деревня за деревней пустели, покинутые жителями, которые толпами оказывались в ловушке новых ударов стихии. Пытаясь внедрить хоть какой-то порядок, полиция и военные всех государств прилагали героические усилия, но мало что могли сделать, кроме как организовать миграцию североамериканских, европейских и азиатских беженцев в арктические и субарктические регионы.

Несмотря на панику и разрушения, лаборатории всего мира продолжали исследования, хотя одна за другой гибли в катаклизмах. Когда охваченные разрушениями области стали слишком обширными, химики, изобретатели и прочие экспериментаторы пришли к выводу, что оставаться на месте попросту неразумно. Судя по общему распределению бурь, Южный полярный круг должен был стать последним регионом земного шара, который атакуют пришельцы, и ученые всех стран, объединившись ради общей цели, немедленно начали подготовку к эвакуации оборудования и строительству лабораторий в самом сердце полярного плато. С помощью гигантских авиалайнеров эвакуация была завершена в удивительно короткие сроки, хотя не обошлось без жертв и потерь во время перелета над новыми регионами, подвергшимися атаке разрушительных лучей. Ученые взяли с собой припасов на несколько лет, и, разумеется, летели в сопровождении жен и родных, а также многих тысяч людей, необходимых для не столь квалифицированной, но не менее важной работы. Среди антарктических пустынь построили целые города из лабораторий и других зданий, а между тем авиалайнеры возвращались за новыми людьми и припасами. К научным колониям присоединились пассажиры сотен блуждавших над морем самолетов с беженцами, и вскоре внушительная часть каждой нации нашла убежище за южным барьером из снега и льда. Помощь была оказана и тем, кто бежал на север, и между этими двумя потоками человечества поддерживалась любая возможная связь.

Роджер Лэпэм, к тому времени относительно выздоровевший, получил приглашение присоединиться к колонии исследователей и отправился на юг на одном из первых авиалайнеров. Ему хотелось возглавить еще одну экспедицию в Северную Африку с целью вновь проникнуть в пустыню Эль-Джуф, где видели опустившийся «метеор», но от столь необдуманного плана его заставило отказаться известие о том, что африканская зона теперь со всех сторон окружена яростными бурями, одна из которых уничтожила Тимбукту.

Колонии у Южного полюса ежедневно получали страшные новости о продолжающемся разрушении и перестройке планеты – сообщения передавались радиооператорами, которым хватало отваги оставаться на своих постах до тех пор, пока безответная тишина в эфире не свидетельствовала об их гибели вместе с местностями, где располагались их радиостанции. Венерианские почва и воздух вместе с окружавшей их распавшейся пылью распространялись, точно раковые опухоли, от самых отдаленных окраин по всем пяти континентам, через области, где к тому времени почти не осталось людей. Небеса заполнились крошечными спутниками меняющихся цветов; пара десятков из них опустилась на Землю и больше не поднималась. Чем занимаются те, кто в них находился, по-прежнему оставалось тайной, интриговавшей все научное сообщество. Ученым не хватало достоверных сведений об этих чужеродных формах жизни, обладавших высоким уровнем интеллекта, техническими ресурсами и властью над материей, которые пока что выглядели совершенно недостижимыми для земного человечества.

VI

Сообщение по радио из одинокого селения на юге Флориды принесло в антарктические лаборатории весть о том, что одну из серебристых сфер люди впервые смогли увидеть вблизи. Разводивший апельсины фермер, который отказался бежать вместе с соседями, и его двенадцатилетний сын, оставшийся с отцом, наблюдали, как одна такая сфера летела в их сторону на высоте около мили, направляясь на юго-восток. Вероятно, она появилась из частично пре-

образованной полосы, включавшей в себя Кентукки, Теннесси и северные области Алабамы, где уже приземлились несколько подобных сфер. Когда ее впервые заметили, она летела медленно, со скоростью меньше тридцати миль в час, а затем мягко опустилась на землю в трех сотнях ярдов от фермера и его сына, на краю сада. Сфера была сделана из какого-то белесого металла, идеально круглая, диаметром по крайней мере в две сотни футов, без каких-либо видимых выступов. Внешне она напоминала миниатюрную планету или луну. Когда сфера приблизилась к земле, в ее нижней части выдвинулось или развернулось нечто вроде рамы из того же белесого металла, состоявшей из четырех треножников, на которые она и опустилась. В этом положении нижняя часть шара отстояла от земли не более чем на пятнадцать-двадцать футов. В нижней части сферы открылся круглый люк или лаз, откуда выдвинулся металлический трап. По ней спустились семеро венериан, которые принялись обследовать окрестности в манере, выдававшей экспедицию ученых. Венериане были примерно четырех футов в высоту, с шарообразными телами, тремя короткими ногами и четырьмя невероятно гибкими руками без суставов, выходившими сбоку и сзади из-под небольших шаров, являвшихся, видимо, их головами. Руки их достигали земли и отчасти использовались для передвижения и поддержания равновесия. Существа либо обладали естественной оболочкой, подобной надкрыльям насекомых, либо носили некую броню или костюм из красного и зеленого металла, ярко сверкавшего в лучах солнца. Похоже, их весьма заинтересовала апельсиновая роща, поскольку они отломали несколько веток, увешанных спелыми плодами, и один из них отнес ветки в сферу, держа на весу двумя своими странными руками. Остальные шестеро разобрались кто куда и на время исчезли из виду; не прошло и часа, как они вернулись со множеством образцов растений, предметами мебели, человеческой одеждой и консервными банками, которые, вероятно, собрали на какой-нибудь покинутой ферме. Они поднялись в сферу, металлический трап втянулся обратно, и люк закрылся. Большой шар, поднявшись в воздух, убрал четыре своих посадочных треножника и, набирая скорость, полетел в сторону океана – возможно, с намерением вскоре оказаться на Багамских островах. Фермер и его сын, которые прятались за грудой пустых ящиков, не осмеливаясь пошевелиться из страха привлечь к себе внимание венериан, поспешили на местную радиостанцию, где продолжал работать оператор, и отправили подробный отчет обо всем увиденном в антарктические лаборатории.

Чуть позднее сферу наблюдали с Багамских островов, но ни на одном из них она не задержалась. Еще позднее ее видели над Гаити, Санто-Доминго, Мартиникой и Барбадосом. Потом она приземлилась возле Кайенны, где венериане захватили и доставили на борт сферы нескольких местных жителей. Затем она продолжила свой полет на юго-восток; ее заметили далеко в море в районе Пернамбуку. Час спустя сферу видели с острова Святой Елены, а затем она сменила курс и устремилась на юг. Пролетев над Тристан-да-Кунья, она на два дня скрылась с человеческих глаз, а потом экипаж самолета, следовавшего с Сандвичевых островов в Антарктиду, обнаружил плавающий в море большой шар, о чем немедленно сообщил ученым. Сразу же была высказана гипотеза, что обитатели шара заболели и, вероятно, умерли или по крайней мере больше не способны управлять своим летательным аппаратом.

– Непосредственный контакт с нашей почвой и атмосферой, – сказал Лэпэм, – несомненно, оказался столь же опасен для этих существ, как и наши вылазки в преобразованные венерианами зоны были опасны для нас. Вероятно, это была группа ученых, готовых подвергнуть себя смертельной опасности ради того, чтобы собрать данные об условиях жизни на Земле.

Находка вызвала немалый шум в новостях, и к плавающей сфере послали три бронированных самолета, вооруженных тяжелыми пушками и запасом взрывчатки. Огромный шар наполовину погрузился в воду и никаких признаков жизни или движения, кроме покачивания на волнах, не выказывал. Наконец после некоторых колебаний экипаж одного из самолетов принял решение выстрелить в надводную часть сферы семидюймовым снарядом, даже

несмотря на риск уничтожения находящегося в ней оборудования, которое могло представлять немалый интерес и ценность для человечества. К удивлению всех, снаряд не произвел никаких заметных повреждений, за исключением небольшой вмятины на боку сферы, и только заставил ее чуть быстрее дрейфовать по волнам. В конце концов было решено отбуксировать загадочный объект на сушу. Вблизи оказалось, что в сфере имеется множество маленьких круглых и овальных окошек, заполненных полупрозрачным материалом зеленого, янтарного и фиолетового цветов. Шар доставили к побережью Южных Шетландских островов, и после нескольких неудачных попыток с использованием не слишком мощной взрывчатки люк в его нижней части наконец удалось взорвать при помощи торита – устрашающей новой смеси затвердевших газов, с помощью которой разрушали целые горы. Очевидно, металл сферы был прочнее, тверже и сообразно тяжелее любого известного человечеству вещества.

Когда дым от взрыва рассеялся, несколько ученых поднялись по лесенке внутрь. Торит причинил немало повреждений, и некоторые замысловатые механизмы поблизости от входного люка оказались, к величайшему сожалению исследователей, безнадежно разрушены. Однако сама сфера и большая часть ее содержимого не пострадали. Внутри она была разделена на многочисленные восьмиугольные ячейки, вероятно, вмещавшие около тысячи межпланетных путешественников во время их полета к Земле. Из большого зала над люком открывались проходы в три других столь же просторных отсека, заполненных механизмами, предназначение и способ действия которых не поддавались определению. В центре каждого помещения стояли огромные сооружения из примерно пяти десятков металлических кубов, соединенных массивными четырехугольными стержнями. Стержни эти, в свою очередь, были связаны между собой одножильными проводами различной толщины, образовавшими гигантскую сеть. В составе материала кубов, стержней и проводов было отмечено наличие трех незнакомых металлов. От каждого центрального механизма отходили изогнутые трубы, разветвлявшиеся на трубки поменьше, которые изгибались во все стороны под сводом отсека и заканчивались рядами закрепленных на переборках пультов со множеством квадратных и шарообразных переключателей, расположенных замысловатыми кругами. По переборкам крепились клавиатуры. Перед каждым из круглых иллюминаторов находилось устройство в форме гигантского раструба с установленной в его устье линзой с сотнями граней, выставлявшее из трубы, которая шла к самому центру кубического сооружения. Иллюминаторы имели разный цвет, и ни одно из них, как и все остальные иллюминаторы в сфере, не было полностью проницаемым для человеческого взгляда. Снаружи сферы, напротив больших отсеков, крепились три диска, смутно напоминавшие радиопередающие антенны, которые тоже соединялись с внутренним механизмом. Вероятно, эти устройства и являлись источником лучей, вызывавших молекулярный распад и преобразование вещества. Была, кроме того, высказана гипотеза о том, что разрушенные торитом механизмы использовались для движения сферы и поддержания ее в воздухе.

Изучив аппаратуру в больших отсеках, ученые занялись исследованием отсеков поменьше, большинство из которых, судя по всему, использовались в качестве жилых кают. Койки и мебель выглядели поистине странно: первые представляли собой некое подобие неглубоких круглых ванн, выстланных похожим на пух невероятно упругим материалом, в которых шарообразные пришельцы могли покоем, свесив руки по бокам или плотно обвив ими туловище. Ученым встретились столовые, где в металлических желобах, разделенных на чашевидные отсеки, лежали остатки незнакомой еды. Потолки всех помещений были низкими, соответственно росту обитателей, и исследователям часто приходилось пригибаться. Они нашли множество устройств непонятного назначения и действия, вероятно обеспечивавших комфорт этих странных существ.

Обследовав несколько помещений, ученые ощутили ужасный запах, исходивший из-за открытой двери, за которой обнаружились мертвые тела шести венериан, лежавшие на полу помещения, походившего на своеобразную лабораторию. Химические сосуды непривычных

форм, различные вещества и разнообразная аппаратура вызвали у земных исследователей немалый интерес и зависть. Венериане, когда их настигла смерть, очевидно, занимались препарированием тела одного из захваченных в Гвиане местных жителей, распластанного на операционном столе. Мертвый индеец был полностью освежеван, внутренности целиком извлечены наружу. Труп его товарища так и не нашли, но, как выяснилось после анализа, многочисленные пробирки содержали химические элементы, из которых состоит человеческое тело. В других пробирках оказались растворенные составляющие апельсинов и иных земных растений.

На мертвых венерианах не было зеленых и красных доспехов, которые описывал фермер из Флориды. Их полностью обнаженные тела были темно-серого цвета, безволосая кожа делилась на рудиментарные чешуйки или пластинки, что намекало на их происхождение от предкарептилии. Кроме этого, ничто в их анатомии не напоминало ни о рептилиях, ни тем более о любых земных млекопитающих. Их длинные и гибкие руки и круглые тела с лишенными шеи шарообразными головами скорее наводили на мысль о гигантских тарантулах. Головы были снабжены двумя маленькими, похожими на присоски ртами, расположенными в нижней части, однако лишены всякого подобия внешних органов слуха или обоняния. По кругу над тем местом, где начинались их четыре руки, на равных расстояниях располагался ряд коротких втягивающихся отростков; каждый заканчивался глазом со множеством похожих на кристалл фасеток, причем каждый глаз был своего цвета и отличался формой и структурой этих фасеток.

После нового обследования разрушенных взрывом механизмов был найден седьмой венерианин: его тело разорвало на куски и завалило массой искореженных труб, проводов и дисков. Судя по всему пораженный той же болезнью, что и остальные, он управлял огромной сферой и, вероятно, при падении или в муках агонии остановил движущий механизм. Как выяснилось позже, всех венериан убила относительно безвредная для людей разновидность стрептококка, которой пришельцы заразились при контакте с мертвыми индейцами.

Находка и результаты исследования сферы вызвали огромный интерес и даже немалую надежду у объединившихся ученых всего мира. Возникло ощущение, что, если получится выяснить принцип действия разрушающих и перестраивающих вещество лучей, возможно, людям удастся сделать многое для того, чтобы отвоевать Землю назад или по крайней мере купировать вторжение венериан. Но три механизма из кубов, труб и проводов с многочисленными пультами еще долго озадачивали самых опытных исследователей, а тем временем всех, кто побывал внутри сферы, поразили неземные болезни, от которых многие умерли или остались инвалидами до конца жизни.

VII

Каким-то образом недели и месяцы постепенно сложились в год. Метаморфоза мира медленно продолжалась, хотя по прошествии трех месяцев смертоносные спутники из космоса больше не прилетали. Лэпэм и его коллеги предположили, что, вероятно, вторжение с Венеры должно было решить проблему перенаселения и прекратилось по достижении этой цели. Всего наблюдалось свыше двухсот металлических сфер; исходя из того, что каждая вмещала по тысяче существ, количество поселившихся на Земле враждебных чужаков оценивали в двести тысяч. После частичного преобразования всех континентов, как и предсказывал Лэпэм, многие сферы начали атаковать моря; ежедневно поступали сообщения о чудовищных штормах кипящего пара в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Климатические и атмосферные изменения ощущались даже в полярных регионах. Воздух, сделавшийся более теплым и влажным, был заражен вредоносными элементами, что вызывало постепенный рост числа легочных заболеваний среди выживших представителей человечества.

Несмотря на все вышеперечисленное, перед людьми все же забрезжила некоторая надежда. Суровые обстоятельства подстегнули научный прогресс, и появилось множество

новых открытий и изобретений. Например, был найден способ прямого использования и сохранения солнечной энергии в больших масштабах и созданы гигантские рефракторы, позволявшие усиливать и концентрировать солнечное тепло. С помощью этих рефракторов были расплавлены огромные пространства вечных льдов и снегов, и обнажившаяся плодородная почва теперь использовалась для сельского хозяйства и садоводства. Условия жизни значительно улучшились, и человечество прочно обосновалось в регионах, ранее считавшихся непригодными для обитания.

Другим ценным изобретением стало телевизионное устройство, превосходившее по дальности и мощности любое известное ранее, с помощью которого можно было получать изображения с любого расстояния от поверхности земли без помощи передающей аппаратуры. Использование его в сочетании с хорошо известными лучами позволяло проникать за пелену тумана, окутывавшего новые территории, и наблюдать за передвижениями и повседневной жизнью захватчиков. Таким образом люди собрали о них множество поразительных сведений. Оказалось, что венериане построили немало городов, отличавшихся своеобразной приземистой архитектурой, где некоторые здания были семи- или восьмиугольными, а другие цилиндрическими или сферическими. Дома были сооружены из синтетических минералов и металлов и соединялись трубами, которые заменяли транспорт, – пассажиры или любые предметы перемещались по ним в нужную точку за несколько мгновений. Здания были оснащены светильниками из радиоактивных материалов. Венериане выращивали внеземные растения и разводили неких существ, которые напоминали не столько животных, сколько гигантских насекомых. Венерианские растения в основном походили на грибы огромных размеров и сложной структуры; многие из них росли в искусственных пещерах под зелеными и янтарными лучами, исходявшими из шарообразных механизмов.

Обычаи пришельцев, разумеется, заметно отличались от человеческих. Выяснилось, что пришельцам требуется крайне мало времени на сон – большинству вполне хватало двух-трех часов. Питались они раз в четыре дня, после чего на полдня впадали в оцепенение, не в силах чем-либо заниматься. Для многих ученых данный факт стал подтверждением теории о происхождении венериан от рептилий. Пришельцы были двуполыми существами, и, тоже в подтверждение вышеупомянутой теории, их детеныши вылуплялись из яиц. Помимо растений, их пища состояла из веществ, получаемых с помощью сложных для человеческого понимания химических процессов. У них имелось нечто вроде изобразительного искусства, по стилю напоминавшего кубизм, и письменная литература, которая, похоже, касалась только научных и математических проблем. Никаких религиозных обрядов у венериан не наблюдалось; они обладали в основном научным и механистическим складом ума. У них развилась материалистическая цивилизация, которую они довели до уровня, далеко превосходившего земной. Их познания в химии, физике, математике и прочих научных областях были столь глубоки, что казались почти сверхъестественными. Разнообразные приборы, инструменты и устройства, которые они использовали, земным изобретателям представлялись настоящим чудом. У венериан имелись оптические приборы с рядами вращающихся линз, расположенных друг над другом в металлических рамах, – с помощью этих приборов они, видимо, изучали небо, несмотря на облачную пелену, постоянно висевшую над их владениями. Высказывалось предположение, что их глаза с мириадами фасеток позволяют видеть сквозь многие материалы, непроницаемые для человеческого зрения, в поддержку чего говорили полупрозрачные иллюминаторы в упавшей сфере.

Самый пристальный интерес вызвало устройство, которое пришельцы изобрели для усиления любых разновидностей космических лучей, от обычного солнечного света до почти неощутимых тончайших излучений в спектрах далеких звезд. Посредством многократного отражения и фокусировки эти лучи позволяли создавать энергию, во много раз превосходившую силу пара или электричества. Усиленные колебания использовались для разрушения и

последующей перестройки молекул. Как вскоре удалось выяснить, разрушение межатомных связей могло происходить по-разному, в зависимости от интенсивности используемых колебаний. Посредством колебаний высокой частоты можно было разрушить атомы и вызвать страшной силы взрыв, превращающий их в исходные элементарные частицы. Низкочастотные колебания приводили к более медленному и неполному процессу взрыва, в результате которого частично разрушались структуры молекул. Именно этот процесс предшествовал преобразованию планеты. Пришельцы пользовались небольшими механизмами наподобие тех, что имелись в серебристом шаре, и все их воздушные машины, промышленное оборудование и прочие устройства получали энергию от взрывов атомов под действием усиленных космических лучей. Наблюдая за применением подобных устройств, земные ученые узнали, каким образом действовала аппаратура в упавшей сфере. Получили объяснение и меняющиеся цвета спутников, – судя по всему, генерация различных лучей сопровождалась появлением цветной ауры вокруг передающего устройства. Как и предполагал Лэпэм, желтый был цветом разрушения, синий – преобразования минералов, а красный сопровождал росту и развитию венерианской растительности. Выяснили и то, почему никто из землян долгое время не замечал первые две сферы, – венериане могли по желанию использовать совместно с другими колебаниями некую их разновидность, нейтрализовав обычные цвета. Вероятно, из естественной предосторожности они предпочитали оставаться невидимыми до тех пор, пока наблюдения не убедили их, что атакованная планета не представляет опасности.

Теперь, получив от чудовищного противника все необходимые знания, земные изобретатели смогли создать аналогичные устройства для разрушения атомов и перестройки их по любому желаемому образцу. Были построены огромные самолеты, оборудованные такими устройствами, и вскоре началась титаническая война на уничтожение. Венерианские территории в Австралии атаковала эскадра из четырехсот самолетов, которым удалось уничтожить несколько металлических сфер и два вражеских города, превратив многие сотни миль затянутой испарениями суши в бурлящий хаос первозданной пыли. Пришельцы оказались совершенно не готовы к подобному, – очевидно, они презирали своих врагов-людей и не видели смысла наблюдать за их передвижениями и деятельностью. Прежде чем они успели объединиться, самолеты пролетели над побережьем Азии, причинив немало разрушений в Месопотамии.

В настоящее время, после двадцати лет войны, какой еще не знала история человечества, людям удалось вернуть большую часть своей территории, несмотря на сопротивление венериан. Но проблема до сих пор существует и, возможно, не будет решена еще многие столетия. Пришельцы основательно укрепились на Земле, и, если однажды к ним прибудет подкрепление с Венеры, события вполне могут обернуться против человечества. Подлинная надежда заключается в ограниченной численности пришельцев и в том, что в новой среде обитания они отнюдь не благоденствуют и постепенно становятся бесплодными, а кроме того, оказались подвержены множеству заболеваний, причиной чему, несомненно, является неполное преобразование Земли и ее атмосферы, а также естественное стремление земных атомных структур к самостоятельному восстановлению даже помимо тех мер, которые предпринимают для этого ученые. С другой стороны, вред, который наносят нашим морям и воздуху ядовитые газы, не благоприятствует человеческой жизни, и всей мощности земной медицины пока недостаточно для того, чтобы в полной мере справиться со всем спектром возникших необычайных проблем.

Роджер Лэпэм, чей ясный логичный ум и пророческая проницательность всегда служили источником вдохновения для его коллег, недавно скончался и был оплакиваем всеми. Но дух его по-прежнему продолжает жить, и даже если человечеству суждено проиграть в долгой и катастрофической войне с инопланетным врагом, эта история земного существования, трудов и страданий будет рассказана не зря.

Явление смерти

Посвящается Г. Ф. Лавкрафту

Я нахожу чрезвычайно трудным точно описать природу чувства, которое всегда вызывал во мне Томрон. Однако я уверен, что оно никогда не напоминало то, что обычно принято называть дружбой. Это была смесь необычных эстетических и интеллектуальных компонентов, и она находилась в родстве с тем очарованием, которое с детства тянуло меня ко всему, что удалено в пространстве и во времени или осенено загадочным сумраком древности. Почему-то Томрон всегда выглядел так, словно не имеет отношения к настоящему, зато легко можно было вообразить, что он живет в какие-нибудь незапамятные времена. Ничто в нем не говорило о характерных чертах нашей эпохи; он стремился даже одежду носить подобную той, что носили несколько веков назад. Он был поразительно бледен, словно труп, и сильно сутулился оттого, что корпел над древними томами и не менее древними картами. Двигался он всегда в медленном, медитативном ритме человека, живущего среди далеких грез и воспоминаний, и часто говорил о людях, событиях и идеях, которых уже давно никто не помнит. К современности он по большей части относился без внимания, и я чувствовал, что огромный город Птолемиды, в котором мы оба жили, со всем его многообразным шумом и суматохой, для Томрона был всего лишь лабиринтом разноцветного морока. Как ни странно, другие люди к Томрону относились так же неопределенно, и, хотя его всегда без сомнений принимали как последнего представителя благородного семейства, потомком коего он себя называл, собственно о его рождении и предках не было известно ничего. Он и двое глухонемых, очень старых слуг, тоже носивших одеяния былых времен, жили в полуразрушенном особняке его предков, где, как говорили, его род не селился уже много поколений. В этом особняке Томрон предавался малопонятным оккультным штудиям, столь дорогим его разуму, и там же я имел обыкновение время от времени его навещать.

Не припомню точную дату и обстоятельства, при которых началось наше с Томроном знакомство. Хотя я происхожу из крепкого рода, известного устойчивой психикой, разум мой сильно потрясли ужасные события, которыми это знакомство закончилось. Память уже не та, что раньше, в ней имеются некоторые провалы, за которые читатели должны постараться меня простить. Чудо уже то, что моя память вообще выжила под тяжким бременем, выпавшим на ее долю, поскольку я, причем не только образно, обречен всегда и всюду носить с собой омерзительный кошмар о том, что давно умерло и сгнило.

Однако я с легкостью вспоминаю исследования, которым посвящал себя Томрон, и утраченные демонические тома из Гипербореи, и Му, и Атлантиды, заполнявшие до потолка его библиотеку, и необычные карты стран, неведомых в подлунном мире, над которыми он склонялся при свете вечно горевших свечей. Описывать эти исследования я не возьмусь, ибо они покажутся неправдоподобно фантастическими и макабрическими, а в том, о чем я должен поведать, и так недостает правдоподобия. Однако я расскажу о некоторых странных идеях, занимавших ум Томрона, – беседуя со мной, он часто говорил о них своим низким, утробным и монотонным голосом, интонации и модуляции которого звучали эхом бездонных пещер. Он утверждал, что жизнь и смерть суть не неизменные состояния, как считает большинство людей, что эти два царства часто взаимопроникают друг в друга путями, которые нелегко разглядеть, и имеют сумеречные пограничные территории, что мертвые не всегда мертвы, а живые – живы в общепринятом смысле этих слов. Но свои идеи он излагал весьма туманно и общо, и мне никогда не удавалось заставить его говорить конкретнее или привести какой-нибудь наглядный пример, сделав их доступными моему уму, не привыкшему распутывать паутину абстракций. За его словами маячил – или казалось, что маячил, – легион темных аморфных образов,

которых я никак не мог ни описать, ни изобразить до самой развязки, до нашего спуска в катакомбы Птолемид.

Я уже сказал, что мои чувства к Томрону нельзя было считать дружбой. Но с самого начала я понимал, что Томрон, напротив, испытывает ко мне необъяснимую симпатию – симпатию, природу которой я не мог постичь и которой едва ли мог сочувствовать. Хотя он неизменно меня завораживал, временами мой интерес был не чужд отвращению. Иногда его бледность казалась *слишком уж* трупной, слишком напоминала выросшие во тьме грибы или кости прокаженного в лунном свете, а согбенные плечи наводили на мысль, что на них лежит бремя веков, кои человеку прожить немыслимо. Он всегда порождал во мне некий трепет, и трепет этот нередко мешался с неясным страхом.

Не помню, как долго длилось наше знакомство, но помню, что под конец он все чаще заговаривал об этих странных идеях, на которые я намекал выше. Вдобавок что-то его, похоже, тревожило, потому что он часто смотрел на меня со скорбью в запавших глазах, а иногда с особенным нажимом распространялся об огромном расположении ко мне. И вот однажды он сказал следующее:

– Теолус, грядет время, когда вы должны будете узнать правду – узнать меня таким, какой я есть, а не каким мне позволено казаться. Всему свой срок, и все подчиняется неумолимым законам. Я бы хотел, чтобы было иначе, но ни мне и ни одному человеку среди живых и среди мертвых не под силу продлить срок любых состояний бытия или изменить законы, их диктующие.

Возможно, оно и к лучшему, что я был неспособен его понять и не придавал особого значения его словам или тому, с каким жаром он их произнес. Еще на несколько дней я был избавлен от знания, которое ношу в себе ныне. Затем как-то вечером Томрон заговорил так:

– Теперь я принужден просить вас о странной услуге, которую, я надеюсь, вы мне окажете в честь нашей долгой дружбы. Я прошу вас со мною вместе навестить сегодня ночью склеп моей семьи в катакомбах Птолемид.

Хотя просьба очень меня удивила и не слишком обрадовала, я тем не менее не мог ему отказать. Я не постигал цели предлагаемого им визита, но, по обыкновению, остерегся расспрашивать и просто ответил, что сопровождаю Томрона в склеп, если таково его желание.

– Благодарю вас, Теолус, за это доказательство дружбы, – серьезно ответил он. – Поверьте мне, я с неохотой прошу вас об этом, но сейчас имеет место некоторый обман, странное непонимание, и так дольше продолжаться не может. Сегодня вы узнаете правду.

Взяв факелы, мы покинули особняк Томрона и отправились искать древние катакомбы Птолемид, что лежат за городскими стенами и очень давно не используются, ведь сейчас в самом сердце города построен прекрасный некрополь. Луна закатилась за край пустыни, что подступала к катакомбам, и мы принуждены были зажечь факелы задолго до того, как спустились в подземные коридоры, ибо лучи Марса и Юпитера в сыром траурном небе не могли осветить неверную тропу, которая вела нас мимо холмов, упавшихobelisks и разрушенных могил. Наконец мы обнаружили темный, оплетенный сорняками вход в склепы, и Томрон углубился в них первым, с быстротой и уверенностью, которые говорили о давнем знакомстве с катакомбами.

Войдя, мы оказались в осыпающемся коридоре, где кости распавшихся скелетов мешались со щебнем, нападвшим со стен и потолка. Спертый воздух и вековое разложение мешались в удушливую вонь, и я на мгновение замер, но Томрон, похоже, ее не замечал – он шел вперед, поднимая факел, и звал меня за собой. Мы прошли множество подземелий, в которых замшелые кости и покрытые патиной саркофаги громоздились вдоль стен или валялись там, где их бросили в былые времена расхитители могил. Воздух становился все сырее, холоднее и зловоннее, и в каждом углу и нише корчились, шарахаясь от света наших факелов, зловещие

тени. К тому же с каждым нашим шагом разрушений становилось все больше, а кости, видневшиеся по обеим сторонам, были все зеленее от времени.

Наконец мы резко свернули за угол в какой-то низкой пещере. Мы дошли до склепов, принадлежавших, очевидно, какой-то благородной семье, – они были просторны, и в каждом склепе стоял только один саркофаг.

– Здесь лежат мои предки и моя семья, – объявил Томрон.

Мы достигли конца пещеры и уперлись в гладкую стену. Сбоку был последний склеп, где стоял открытый пустой саркофаг. Он был отлит из лучшей бронзы и богато украшен рельефами.

Томрон остановился перед склепом и обернулся ко мне. В неверном свете факела мне показалось, что я читаю в его лице странное и необъяснимое страдание.

– Должен просить вас удалиться на короткое время, – сказал он тихо и скорбно. – Потом можете вернуться.

Удивленный и озадаченный, я послушался его просьбы и медленно отошел назад по коридору на некоторое расстояние. Затем вернулся туда, где оставил Томрона. Каково же было мое удивление, когда я понял, что он потушил факел и бросил его на порог последнего склепа. Самого Томрона нигде не было видно.

Войдя в склеп, так как спутнику моему, очевидно, больше негде было спрятаться, я стал его искать, но пещера оказалась пуста. По крайней мере я так думал, пока еще раз не заглянул в богато украшенный саркофаг и не обнаружил, что теперь он занят: внутри лежал труп, закутанный в саван, причем саваны такого рода не использовались в Птолемидах уже несколько веков.

Я приблизился к саркофагу и, взглядевшись в лицо трупа, увидел, что оно обладает пугающим и странным сходством с лицом Томрона, хотя раздуто и вспучено разложением и имеет пурпурный оттенок тления, словно пробыло в склепе долгие века. Приглядевшись, я понял, что это и в самом деле Томрон.

Тут бы мне закричать от объявшего меня ужаса, но губы мои онемели и застыли, и я смог лишь прошептать имя Томрона. Когда же я его прошептал, губы трупа как будто раздвинулись и между ними показался кончик языка. Мне почудилось, что он задрожал, словно Томрон вот-вот заговорит и ответит мне. Но, приглядевшись поближе, я увидел, что это была не дрожь, а просто шевеление червей, которые сновали во рту туда-сюда, стремясь оттеснить друг друга от языка Томрона.

Убийство в четвертом измерении

Здесь приводится рассказ из записной книжки, обнаруженной под дубом возле шоссе Линкольна между Боуменом и Оберном. Рассказ этот, разумеется, тут же сочли бы бреднями сумасшедшего, если бы не загадочное исчезновение Джеймса Бэкингема и Эдгара Хэлпина, произошедшее за восемь дней до того. Рядом с записной книжкой были найдены монета в один доллар и носовой платок с инициалами Бэкингема.

Мало кто поверит, что я разработал и усовершенствовал свое уникальное изобретение исключительно из-за того, что на протяжении десяти лет испытывал жгучую ненависть к Эдгару Хэлпину. Только тот, кто ненавидел ближнего своего с подобной чудовищной силой, поймет, отчего я с таким терпением изыскивал средство отмщения, достойное случая и временно безопасное для меня. За обиду, которую он мне нанес, рано или поздно нужно было сквитаться, и мою жажду мести могла утолить лишь его смерть. Однако же я совершенно не собирался кончать жизнь на виселице даже за преступление, которое, по моему искреннему убеждению, было бы просто-напросто актом правосудия. Я адвокат и знаю, насколько трудно – практически невозможно – совершить убийство, не оставив прямых улик. Именно поэтому я так долго и тщетно искал способ убить Эдгара Хэлпина, и далеко не сразу ко мне пришло вдохновение.

У меня имелись достаточные причины его ненавидеть. Во время учебы в университете, да и первые несколько лет в юридической фирме, где мы партнерствовали, Хэлпин был моим закадычным другом. Но потом он женился на той единственной женщине, которую я беззаветно любил, и дружбе пришел конец – место привязанности в моем сердце заняла невыносимая ледяная злоба. И хотя Элис умерла через пять лет после свадьбы, ее смерть ничего не изменила, ведь я никак не мог простить этим подлым ворам того счастья, которого был лишен и которым они вместе все эти пять лет упивались. Я твердо верил, что она любила бы меня, если бы не Хэлпин: на самом деле мы с Элис уже практически были помолвлены, но тут вмешался он.

Не следует, однако, думать, что я проявлял неосторожность или каким-либо образом выдавал свои истинные чувства. Мы оба работали в юридической фирме в Оберне и каждый день общались; Хэлпин часто приглашал меня к себе домой и принимал весьма радушно. Сомневаюсь, что он вообще знал о моих чувствах к Элис: по природе своей я человек скрытный и не люблю выставлять ничего напоказ. А еще я гордый. Никто, кроме Элис, и не подозревал о моих терзаниях, и даже она не ведала о моей всепоглощающей обиде. Сам Хэлпин всецело мне доверял, и я всячески поощрял это доверие, вынашивая планы мести. Я сделался незаменимым помощником, содействовал ему во всем, а в это время в сердце моем klokотали ядовитые страсти. Я любезничал с ним и хлопал его по спине, хотя гораздо охотнее вонзил бы в нее кинжал. Мне были ведомы все тошнотворные муки, что выпадают на долю лицемера. День за днем, год за годом я замышлял страшную месть.

Все эти десять лет я исправно выполнял свои обязанности в юридической фирме и штудировал все, что только попадалось под руку, лишь бы оно было связано с убийствами. Особенно меня занимали преступления, совершенные на почве ревности, и я без устали читал отчеты о подобных делах, изучал орудия и яды и при этом в подробностях воображал себе убийство Хэлпина. Представлял, как разделяюсь с ним всевозможными способами, в разное время дня и ночи, в том или ином антураже. Во всех моих замыслах имелось одно слабое место: я никак не мог придумать, где бы прикончить его так, чтобы не попасться.

Поскольку у меня имеется склонность к научным изысканиям и экспериментам, в конце концов я встал на верный путь. Давным-давно мне была известна теория, согласно которой в

одном и том же пространстве с нами сосуществуют другие миры или измерения – они отличаются от нашего мира молекулярной структурой и частотой колебаний, из-за чего мы их и не воспринимаем. Однажды, когда я предавался кровожадным фантазиям и в тысячный раз воображал, как набрасываюсь на Хэлпина, чтобы удавить его голыми руками, мне вдруг пришла идея: а что, если проникнуть в какое-нибудь невидимое нам измерение? Это же идеальное место для убийства, ведь ни улики, ни сам труп никто не сумеет обнаружить, – другими словами, не будет никакого состава преступления. Оставалась одна нерешенная проблема: как попасть в такое измерение; но, возможно, рассудил я, она не так уж и нерешаема. Я тут же принялся размышлять о предстоящих трудностях, перебирать в уме способы и средства.

Следующие три года были посвящены различным опытам, но по определенным причинам я не буду излагать их здесь подробно. В своих исследованиях я опирался на очень простую теорию, однако же сами эксперименты были весьма непросты в исполнении. Вкратце – я исходил из следующих предпосылок: колебания, свойственные объектам в четвертом измерении, можно искусственным образом воспроизвести в нашем при посредстве определенных механизмов, а следовательно, предметы или люди, подвергнутые воздействию этих колебаний, перенесутся в чуждые нам края.

Долгое время мои труды не приносили никаких плодов: я ощупью пробирался среди загадочных сил и разбирался в таинственных законах, которые сам не до конца понимал. Я даже словом не обмолвлюсь о принципах работы устройства, которое мне наконец удалось создать, поскольку не желаю, чтобы кто-нибудь пошел по моим стопам и оказался в столь же удручающем положении. Однако упомяну, что необходимую вибрацию я смог воспроизвести, сфокусировав ультрафиолетовые лучи с помощью рефракционного аппарата, изготовленного из весьма чувствительных материалов, о которых распространяться не буду. Сгенерированную в результате энергию я сохранял в некоем подобии аккумулятора, и впоследствии ее можно было высвободить через специальный диск, подвешенный, например, над обычным креслом: все, что оказывалось под диском, подвергалось воздействию вибрации. Площадь воздействия можно было регулировать с помощью особых изолирующих приспособлений. Воспользовавшись этим изобретением, я сумел отправить в четвертое измерение несколько объектов: тарелку, бюстик Данте, Библию, французский роман и, наконец, кошку – все это под воздействием ультрафиолетового излучения мгновенно исчезало. Согласно моим расчетам, перечисленные объекты со своей атомной структурой теперь существовали в мире с той же частотой колебаний, какую я искусственно воспроизвел при помощи своего механизма.

Разумеется, перед тем как отправляться в невидимое измерение самому, следовало придумать и средство для возвращения. Поэтому я создал второй аккумулятор и второй диск, который при помощи инфракрасного излучения воспроизводил частоту колебаний нашего собственного мира. Этот диск я включил там же, где перед исчезновением располагались тарелка и другие предметы, и все они вернулись в лабораторию, ничуть не изменившись. Даже у кошки через несколько месяцев не было заметно никаких побочных эффектов из-за путешествия на другой план бытия. Мой инфракрасный прибор был портативным, и я собирался взять его с собой, отправившись в неизведанный мир в компании Эдгара Хэлпина. Потом я, но ни в коем случае не он, должен был вернуться домой к прозаическим радостям жизни.

Все эксперименты я проводил в строжайшей тайне. Чтобы никто не догадался, чем я занят, организовал себе уединенное убежище – выстроил небольшую лабораторию на принадлежащей мне заброшенной и заросшей лесом ферме на полпути между Оберном и Боуменом. Туда я частенько ездил, когда у меня появлялось свободное время, якобы чтобы для самообразования ставить совершенно обычные химические опыты. Никого и никогда не приглашал я в свою лабораторию, и ни друзья, ни знакомые не выказывали особого любопытства в отношении нее или моих увлечений. Ни единой душе не обмолвился я и словечком о том, чем в действительности занимаюсь.

Никогда не забуду того торжества, которое испытал, когда мое инфракрасное устройство сработало и в лаборатории вновь возникли тарелка, бюст, две книги и кошка. Я так жаждал наконец свершить свою столь долго лелеемую месть, что даже не озаботился сперва посетить четвертое измерение лично. Я хотел побыстрее отправить туда Эдгара Хэлпина. Однако же сообщать ему об истинной природе моего устройства и без экивоков звать в путешествие было бы неразумно.

В то время Хэлпин мучился из-за регулярных приступов терзавшей его невралгии. В один прекрасный день, когда он жаловался больше обычного, я по секрету поведал ему, что давно разрабатываю особое устройство, которое способно облегчить симптомы его недуга, и как раз сейчас мне удалось добиться успеха на этом поприще.

– Могу сегодня вечером отвезти тебя в лабораторию, сам попробуешь, – сказал я. – Вот увидишь, тебе сразу полегчает; всего-то и надо, что сесть в кресло, а я запущу механизм. Только никому ничего не говори.

– Спасибо, старина, – обрадовался Хэлпин. – Буду страшно признателен, если ты облегчишь эту чертову боль. У меня такое ощущение, будто голову постоянно буравят электрическими сверлами.

Время я выбрал весьма подходящее, обстоятельства складывались в мою пользу – можно было обстрелять все в тайне, как я и намеревался. Хэлпин жил на окраине, и в тот момент, кроме него, в доме как раз никого не было: экономка уехала куда-то навестить больную родственницу. Ночь выдалась темная, все окутал туман. Я заехал за Хэлпином сразу после ужина, когда на улице не было практически ни души. Вряд кто-нибудь заметил, как мы выезжали из города. Чтобы добраться до лаборатории, я воспользовался безлюдным проселком – сказал, что не хочу столкнуться с другой машиной в таком густом тумане. Нам никто не попался навстречу, и я счел это добрым знаком: все шло точно по плану.

Когда я включил свет в лаборатории, Хэлпин удивленно ойкнул.

– Я и не знал, что у тебя тут так много всего, – заметил он, с уважением и любопытством оглядывая выстроившиеся у стены устройства – плоды неудачных экспериментов.

Я показал на кресло под ультрафиолетовым диском:

– Присаживайся, Эд, сейчас мы в мгновение ока тебя вылечим.

– Надеюсь, это не электрический стул? – пошутил он, садясь.

Меня пронзило острое чувство торжества, я будто испил необыкновенного живительного эликсира. Теперь Хэлпин был в моей власти; настал момент расквитаться за десять лет унижений и страданий. Хэлпин ничегошеньки не подозревал – ему и в страшном сне бы не привиделось, что я могу его предать и подвергнуть опасности. Нашупав под пальто рукоять охотничьего ножа, я ласково ее погладил.

– Готов?

– Еще бы! Действуй.

Я уже давно рассчитал, как следует направить ультрафиолетовое излучение, чтобы оно падало только на тело Хэлпина, не затронув кресло. Не отрывая взгляда от своего врага, я щелкнул рычажком. Все произошло почти мгновенно – Хэлпин растворился, словно облачко дыма. Пару секунд я еще видел очертания фигуры и призрак удивления, промелькнувший на его лице. А потом Хэлпин исчез, окончательно и бесповоротно.

Возможно, вас удивит, что я, навсегда исключив ненавистного недруга из земной жизни, просто-напросто не бросил его в невидимом измерении. Увы, довольствоваться этим я не мог. Обида, которую он причинил, жгучим ядом разъедала меня изнутри; невыносима была одна мысль о том, что он жив и существует в какой угодно форме на каком угодно плане бытия. Утолить мою ненависть могла лишь его смерть, и смерть эта должна была наступить от моей

собственной руки. Оставалось только последовать за Хэлпином в края, где еще ни разу не ступала нога человека, где география была мне решительно неведома. Однако я был уверен, что смогу попасть туда, расправиться со своей жертвой и вернуться. Возвращение кошки не оставило ни малейших сомнений.

Я выключил свет, уселся в кресло, держа в руках портативный инфракрасный диск, и запустил ультрафиолетовую энергию. Ощущение было такое, словно я с кошмарной скоростью ухнул в бездонную пропасть. Оглохший от невыносимого грохота, охваченный жутким тошнотворным головокружением, я едва не потерял сознание. Меня затянуло в черную воронку пространства и увлекло куда-то вниз в неведомую бездну. Постепенно скорость уменьшилась, и я аккуратно приземлился на ноги. Вокруг все было залито тусклым светом; когда мои глаза чуть привыкли к нему, я стал лучше различать окрестности. В нескольких футах от меня стоял Хэлпин. За ним виднелись темные бесформенные скалы и смутные очертания какой-то пустынной местности: низкие насыпи, первобытного вида безлесные равнины. Хотя я и не знал, что встречу по прибытии, местность эта меня отчасти поразила. Наверное, я представлял, что четвертое измерение ярче и сложнее – разнообразные оттенки, замысловатые формы. Тем не менее эта жуткая примитивная пустыня идеально подходила для задуманного мною.

В неверном свете я увидел, как Хэлпин повернулся. На лице у него застыло глуповатое ошеломление.

– Ч-ч-что с-с-случилось? – выдавил он, слегка заикаясь.

– Не важно, что случилось, – важно, что случится прямо сейчас.

С этими словами я положил на землю портативный диск, вытащил охотничий нож и четким выверенным движением вонзил его в Хэлпина, с чьего лица так и не сошла ошеломленная гримаса. Этот удар наконец дал выход той затаенной ненависти и лютой злобе, что разъедали меня десять невыносимых лет. Хэлпин бесформенной грудой осел на землю, дернулся, но быстро затих. Из бока у него очень медленно, растекаясь лужицей, сочилась кровь. Помню еще, как я удивился, почему она струится так медленно: казалось, так будет продолжаться несколько часов или даже дней.

Я стоял подле его тела, ощущая совершеннейшую нереальность происходящего. Несомненно, из-за напряжения, которое я столь долго испытывал, из-за каждодневно сдерживаемых эмоций, из-за тех надежд, которые я питал целых десять лет, я никак не мог осознать, что заветное желание наконец исполнилось. Все это было слишком похоже на кровожадные мечтания, которым я предавался, воображая, как вонзаю в грудь Хэлпина нож и любуюсь на мертвое тело.

Наконец я решил, что настала пора возвращаться, – какой смысл дольше задерживаться подле трупа среди невыразимо жуткого пейзажа? Я поднял диск так, чтобы излучение охватило меня целиком, и щелкнул переключателем.

Резко закружилась голова, как будто я вот-вот снова рухну в бездонную воронку. Но ничего не произошло – головокружение не отступало, но я по-прежнему стоял над трупом в том же мрачном антураже.

Постепенно мое замешательство перешло в смятение. По какой-то непонятной причине диск не работал. Возможно, в этом мире что-то препятствовало распространению инфракрасных лучей. Не знаю; как бы то ни было, я оказался один-одинешенек и в весьма неприятном положении.

Не знаю, сколько я возился с механизмом, постепенно впадая в бешенство; я надеялся, что это лишь временная неполадка и диск можно починить, главное – установить причину поломки. Однако мои усилия ни к чему не привели: устройство, безусловно, работало, но почему-то не генерировало нужную энергию. Ради эксперимента я направлял лучи на небольшие предметы. Очень медленно серебряная монетка и носовой платок растаяли в воздухе: по

всей видимости, они переместились на обычный план бытия. Но силы диска не хватало, чтобы вернуть домой человека.

Наконец я оставил тщетные попытки и швырнул диск на землю. На меня нахлынуло жестокое отчаяние; хотелось что-то делать, хотелось двигаться, и я отправился осматривать зловещие края, в которых, сам того не желая, застрял.

Края эти совсем не напоминали наш мир: так могла бы выглядеть земля до сотворения жизни. Голые холмы под однообразно серым небом, что лишено было и луны, и солнца, и звезд, и облаков, но изливало ровный тусклый свет. Никаких теней, потому что свет равномерно исходил отовсюду. Под ногами кое-где серая пыль, а кое-где серая склизкая жижа. Низкие насыпи, о которых я уже писал, напоминали спины увязших в болоте доисторических чудищ. Ни следа насекомых или зверей, ни деревца, ни травинки, ни мха, ни лишайников, ни даже водорослей. Скалы были хаотично разбросаны по равнине, и при взгляде на них в голову приходило сравнение с трудами полоумного демона, который слепо пытался подражать Господу Богу. В тусклом свете горизонт не просматривался – трудно было понять, далеко он или близко.

Мне показалось, я шел несколько часов. Я старался придерживаться прямого курса. У меня имелся компас (всегда его с собой ношу), но он не желал работать: видимо, в этом мире не существовало магнитных полюсов.

Внезапно, обогнув очередную бесформенную кучу камней, я наткнулся на лежащий подле нее скрюченный труп и с изумлением понял, что это Хэлпин. Из-под пальто все так же медленно вытекала кровь, но с того момента, как я отправился на разведку, лужа рядом с телом совсем не увеличилась.

Я был уверен, что не ходил кругами, как иногда случается с людьми в незнакомых краях. Как же тогда умудрился я вернуться на место преступления? Эта загадка едва не свела меня с ума; повинуясь отчаянному порыву, я двинулся в противоположном направлении.

Передо мной раскинулась местность, неотличимая от той, которую я уже видел. Едва верилось, что насыпи, мерзкая жижа и пыль, жуткие булыжники – не те же самые, мимо которых я уже проходил. На ходу я достал наручные часы, собираясь засечь время, но стрелки остановились в тот самый миг, когда я переместился из своей лаборатории в неизвестное пространство, и, как я их ни заводил, часы отказывались идти.

Преодолев огромную, по моим ощущениям, дистанцию и, к своему изумлению, не испытыв ни малейшей усталости, я в конце концов снова вернулся к трупу, от которого хотел отдалиться. Мне кажется, тогда меня ненадолго охватило настоящее безумие...

Теперь, по прошествии некоторого времени (или целой вечности – измерить я не в состоянии), я пишу обо всем, что со мной приключилось, в своей записной книжке. Делаю я это, сидя возле трупа Эдгара Хэлпина, от которого так и не смог уйти: раз десять я пытался отправиться в ту или иную сторону по равнине в тусклом свете, но всегда после определенного промежутка возвращался к Хэлпину. Тело не разлагается, кровь все так же льется. По всей видимости, время, как мы его понимаем, в этом мире практически не существует или же его течение сильно нарушено. Нет здесь и всего того, что сопутствует этому течению, а само пространство изгибается так, что я постоянно прихожу в одну и ту же точку. Действия, которые я совершаю осознанно, можно считать некоторым подобием последовательности, но в остальном время целиком или почти целиком застыло. Я не ощущаю ни физической усталости, ни голода, но ужас ситуации, в которой я оказался, невозможно описать человеческим языком, и в самом Аду вряд ли сумели бы измыслить подходящее для него название.

Закончив свою повесть, я с помощью инфракрасного диска отправлю записную книжку в наше измерение. Необъяснимая тяга исповедаться в своем преступлении и рассказать другим о постигшем меня несчастье подвигла меня на то, что, как я думал, я сделать не способен из-за своей чрезвычайной нелюдимости и скрытности. К тому же эта писанина помогает мне занять себя, дарует хотя бы временное облегчение от жутчайшего безумия, которое скоро целиком

овладеет мною, и позволяет отвлечься от бесконечного серого лимба, куда я собственноручно заточил себя, и от нетленного трупа моей жертвы.

Одержимый злом

Старый дом Ларкомов был почтенной, впечатляющих размеров усадьбой, стоявшей среди кипарисов и дубов на холме за обернским Чайнатауном, в том районе, где некогда селилась местная аристократия. Во времена, о которых пойдет рассказ, дом пустовал уже несколько лет и мало-помалу обзаводился всеми признаками разрушения и запустения, что так скоро появляются в жилье, брошенном без присмотра. У дома была трагическая история; считалось, что там водятся привидения. Мне так и не удалось узнать подробнее, из первых рук, о призраках, которые там водились. Однако же усадьба, несомненно, обладала всеми задатками дома с привидениями. Первый ее владелец, судья Питер Ларком, был убит в семидесятые прямо у себя дома китайским поваром-маньяком; одна из дочерей судьи лишилась рассудка; еще двое членов семьи погибли в результате несчастных случаев. Никто из них не процветал: их история состояла из сплошных бед и несчастий.

Следующие владельцы, что приобрели усадьбу у последнего оставшегося в живых сына Питера Ларкома, прожив в доме несколько месяцев, внезапно съехали в необъяснимой спешке и навсегда переселились в Сан-Франциско. Они ни разу не возвращались хотя бы на короткий срок, налоги платили аккуратно, однако в остальном о существовании дома как будто бы забыли. Все уже привыкли считать эту усадьбу чем-то вроде старинных руин, как вдруг сделалось известно, что дом продан Жану Аверо из Нового Орлеана.

Моя первая встреча с Аверо оказалась на удивление многозначительной: она показала мне, как иной раз не выказывают даже годы знакомства, особый склад его ума. Разумеется, мне и прежде доводилось слышать о нем разные странные слухи: личность его была чересчур оригинальной, а появление чересчур таинственным, чтобы вокруг него, как водится, не возник ворох деревенских сплетен. Мне говорили, что он сказочно богат, что он отшельник, и притом крайне эксцентричный, что он внес в интерьер старой усадьбы крайне необычные изменения и – последнее, но не менее важное – что он живет с прекрасной мулаткой, которая никогда ни с кем не разговаривает и состоит при нем не только домоправительницей, но также и любовницей. Самого же Аверо иные описывали мне как своеобразного, но безобидного сумасброда, другие же – как самого Мефистофеля во плоти.

Я видел его несколько раз до того, как мы познакомились. То был угрюмый креол с блеклым, землистым лицом – впалые щеки и горящие глаза выдавали его расу. Меня поразило его лицо, светящееся умом, и огненный, устремленный в одну точку взгляд – взгляд человека, одержимого одной-единственной идеей в ущерб всем прочим. Так мог бы смотреть средневековый алхимик, убежденный в том, что спустя годы неутомимых поисков вот-вот достигнет цели.

Как-то раз я сидел в городской библиотеке, и туда же пришел Аверо. Я взял газету, лежавшую на одном из столов, и читал о подробностях жесточайшего преступления: убийства женщины и двух маленьких детей, совершенного их мужем и отцом. Он пропитал одежду своих жертв горючим и запер их в чулане. А ляжку от фартука жены он выпростал наружу, зажал дверь и поджег извне, словно фитиль.

Аверо проходил мимо стола, за которым я читал. Подняв глаза, я увидел, как он бросил взгляд на заголовки моей газеты. Мгновение спустя он повернул назад, подсел ко мне и заговорил вполголоса:

– В преступлениях подобного рода мне интересно предположение, что за ними обязательно стоят некие сверхъестественные силы. Ну мог ли человек по собственной своей инициативе задумать и совершить нечто столь откровенно дьявольское?

– Даже и не знаю, – отвечал я, несколько застигнутый врасплох и вопросом, и вопрошающим. – Человеческая натура таит в себе ужасающие глубины: пропасти инстинктов и побуждений куда отвратительнее, чем у любого зверя из джунглей.

– Не могу не согласиться. Однако откуда же взялись эти побуждения, неведомые даже самым свирепым прародителям человека, – как они проникли в его натуру, если не под влиянием неких потусторонних сил?

– Так вы, стало быть, верите в существование некоего злого начала или сущности – Сатаны или Аримана?

– Я верю в зло – как же в него не верить, когда оно проявляет себя повсюду? Я рассматриваю его как силу, управляющую всем, – но я не думаю, будто эта сила исходит от некой личности в том смысле, как мы понимаем личность. Сатана? О нет. Я представляю себе скорее некие темные вибрации, излучение черного солнца из центра зловещих эпох – излучение, которое способно проникать повсюду не хуже любых других лучей, если не глубже. Но вероятно, я не вполне внятно изъясняюсь?

Я возразил, что прекрасно все понял; однако после внезапного приступа общительности он вдруг исполнился странного нежелания продолжать разговор. Очевидно, что-то его побудило ко мне обратиться; не менее очевидно и то, что он пожалел о своей излишней разговорчивости. Он встал; однако прежде, чем уйти, сказал мне:

– Я Жан Аверо – вы обо мне, должно быть, слышали. А вы Филип Хастейн, писатель. Я читал ваши книги, я от них в восторге. Приходите как-нибудь повидать меня, – возможно, в наших вкусах и идеях есть нечто общее.

Сама личность Аверо, идеи, которыми он со мной поделился, его глубокий интерес к этим идеям и ценность, которую он столь явно им приписывал, произвели на меня серьезное впечатление, и я никак не мог о нем забыть. Несколько дней спустя я повстречался с ним на улице, и он повторил свое приглашение с неподдельно искренней сердечностью. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Меня интересовала, хотя и не сказать чтобы привлекала, его странная, почти что патологическая личность, и преследовало желание узнать о нем побольше. Я чувствовал здесь тайну, выходящую за пределы обыденности, – тайну, в которой крылось нечто аномальное, нечто жуткое.

Окрестности старой ларкомовской усадьбы выглядели точно такими же, какими я их помнил, хотя мне давно уже не случалось заглядывать в эти места. Непроходимая чаща плетистого шиповника, земляничного дерева, сирени, лагерстрёмии и плюща, над которой возвышались громадные кипарисы и угрюмые вечнозеленые дубы. Все это было оваяно буйным, мрачноватым очарованием – очарованием одичания и разрушения. Новый хозяин ничего не сделал, чтобы привести усадьбу в порядок, и на самом доме не заметно было никаких признаков ремонта: облезлую побелку былых времен мало-помалу замещали мхи и лишайники, процветающие в вечной тени кипарисов. На крыше и колоннах парадного крыльца тоже были заметны следы гниения, и я удивился, отчего же новый владелец, о котором рассказывают, будто он так богат, не озаботился необходимым ремонтом.

Я приподнял и уронил дверной молоток в виде горгульи. Раздался глухой, жалобный лязг. Дом хранил молчание; и я уже собрался было постучать снова, как вдруг дверь медленно отворилась, и я впервые увидел ту самую мулатку, о которой в городке ходило столько слухов.

Женщина оказалась не столь красива, сколь экзотична, с прекрасными и скорбными глазами и неправильными бронзовыми чертами лица, выдававшими полунегроидное происхождение. А вот фигура ее и впрямь была идеальной, с плавными изгибами лиры и гибкой кошачьей грацией дикого зверя. Когда я спросил Жана Аверо, она только улыбнулась в ответ и жестом пригласила меня войти. Я сразу предположил, что она немая.

Ожидая в мрачной библиотеке, куда она меня проводила, я невольно принялся разглядывать тома, от которых ломились шкафы. Там царил полная неразбериха: книги по антро-

пологии, истории религий, демонологии, современная научная литература, книги по истории, психоанализу и этике – все громоздилось вперемешку. Кое-где попадались редкие романы и сборники поэзии. Монография де Бособра о манихействе стояла бок о бок с Байроном и Эдгаром По, «Цветы зла» Бодлера соседствовали с новенькой книжкой по химии.

Несколько минут спустя вошел Аверо и принялся пространно извиняться за опоздание. Он сказал, что как раз был поглощен некими трудами, однако же не объяснил, что это за труды. Он был еще взбудораженнее, чем в последнюю нашу встречу, и глаза у него горели еще лихорадочней. Он несомненно был рад меня видеть, и ему явно не терпелось поговорить.

– Вы смотрели мои книги, – тотчас же заметил он. – Возможно, это неочевидно на первый взгляд, поскольку они очень уж разнообразны, однако я избрал их все с единственной целью: изучение зла во всех его аспектах, в Античности, в Средние века и в Новое время. Я проследил его в демонологиях и религиях всех народов – и более того, в самой истории человечества. Я обнаружил, как оно вдохновляло поэтов и романистов, которые имели дело с самыми мрачными побуждениями, эмоциями и поступками людей. Именно поэтому меня заинтересовали и ваши романы: вам ведомы пагубные влияния, что нас окружают, что столь часто подталкивают нас к действию или бездействию. Я проследил эти влияния даже в химических реакциях, в том, как растут и разлагаются деревья, цветы, минералы. Мне кажется, что процессы материального разложения, как и аналогичные процессы в мышлении и в морали, целиком и полностью обязаны им... Короче говоря, я принял за аксиому существование монистического зла, кое есть источник всякой смерти, порчи, несовершенства, страдания, горя, безумия и болезней. Это зло, которому силы добра противостоят столь вяло, завораживает и зачаровывает меня превыше всего. Я издавна сделал целью всей своей жизни обнаружить истинную его природу и проследить его до самого истока. Я уверен, что где-то в пространстве существует тот самый центр, откуда исходит все зло на свете.

Аверо говорил в лихорадочном возбуждении, с болезненной, почти маниакальной страстностью. Его одержимость убедила меня, что он несколько не в себе, однако же в развитии его идей имелась некая бредовая логика.

Он продолжал свой монолог, толком не дождав ответа:

– Я выяснил, что некоторые территории и здания, а также природные либо искусственные объекты, размещенные определенным образом, более предрасположены к восприятию эманаций зла, нежели иные. Законы, которыми определяется степень такой восприимчивости, для меня темны; однако как минимум сам факт мною проверен. Как вам известно, существуют дома либо местности, которые известны целой вереницей произошедших там преступлений либо несчастий; существуют также и предметы, скажем некоторые драгоценные камни, владение которыми приносит беду. Такие места или предметы и есть приемники зла! Однако у меня есть гипотеза, что эти эманации злых сил никогда не попадают к нам напрямую, беспрепятственно. С проявлениями чистого, абсолютного зла мы просто не сталкивались!.. Но при помощи определенного устройства, которое сформирует необходимое поле или станет принимающей станцией, по-видимому, возможно призвать это самое абсолютное зло. Я уверен, что при таких условиях эти темные вибрации воплотятся в зримой и осязаемой форме, сравнимой со светом или электричеством!

Он воззрился на меня – его взгляд был необычайно пристальным и требовательным. И сказал:

– Должен сознаться, что это старинное поместье вместе с землями я приобрел в первую очередь из-за их зловещей истории. Оно необычайно подвержено тем влияниям, о которых я говорю. В данный момент я работаю над аппаратом, благодаря которому, когда он будет завершен, надеюсь явить излучение сил зла во всей их первозданной чистоте.

Тут появилась мулатка и прошла через гостиную по какой-то хозяйственной надобности. Мне показалось, что она окинула Аверо настороженным взглядом, полным материнской неж-

ности и тревоги. Он же, со своей стороны, будто бы и не заметил ее присутствия, совершенно поглощенный своими странными идеями и еще более странным проектом. Однако, когда она удалилась, он заметил:

– А это Фифина, единственное человеческое существо, которое питает ко мне подлинную привязанность. Она немая, но очень умная и преданная. Все мои родственники, старинная луизианская семья, давным-давно скончались, а моя жена для меня мертва дважды.

Судорога непонятной боли исказила его черты и тотчас исчезла. Он возобновил свой монолог – и никогда более не упоминал о той, по-видимому, трагической истории, на которую намекнул мимоходом.

По меньшей мере час рассуждал он на тему вселенского зла, говорил о тех изысканиях и экспериментах, которые проводил и только еще планировал проводить. О многом – то была странная смесь науки и мистики – мне не хотелось бы распространяться тут. Я тактично соглашался со всем, однако же осмелился указать на возможную опасность его экспериментов с призыванием, если они, паче чаяния, окажутся успешными. На это он со всем пылом алхимика или религиозного фанатика отвечал, что это не важно – что он готов принять любые и всяческие последствия.

Я распрощался с ним, пообещав вернуться для новой беседы. Разумеется, теперь я полагал, что Аверо безумен; однако безумие его было весьма необычным и оригинальным. И мне почему-то представлялось по-своему значительным то, что именно меня он избрал поверенным своих тайн. Все прочие, кто с ним встречался, находили его крайне молчаливым и замкнутым. Наверное, он испытывал обычную человеческую потребность излить себя перед кем-нибудь и выделил меня как единственного человека в округе, который мог бы его понять.

В течение следующего месяца я виделся с ним несколько раз. На самом деле он был весьма странным образчиком психологии; и я поощрял его говорить свободно, хотя он вряд ли нуждался в подобном поощрении. Каждый раз, как я его навещал, он засыпал меня блестящими, хотя и несколько хаотичными рассуждениями на свою излюбленную тему. Он также дал мне понять, что изобретение его продвигается успешно. И в один прекрасный день он внезапно объявил:

– Я покажу вам свою машину, если вам угодно ее видеть.

Я тотчас заверил, что мне не терпится увидеть его творение, и мы перешли в комнату, куда меня прежде не приглашали. Помещение было просторным, треугольной формы, со стенами, увешанными занавесями из какой-то мрачной черной ткани. Окон в комнате не было. По всей видимости, внутреннюю планировку дома понадобилось изменить, чтобы устроить этот зал; таким образом объяснялись странные истории, которые распространяли по городку плотники, нанятые для этой работы. Точно в центре комнаты на невысокой латунной треноге стоял тот самый аппарат, о котором так часто упоминал Аверо.

Устройство выглядело весьма фантастически и более всего походило на какой-то новый, чрезвычайно сложный музыкальный инструмент. Я припоминаю, что там было множество проволок различной толщины, натянутых на вогнутые резонирующие пластины из некоего темного, лишенного блеска металла; а над ними на трех горизонтальных перекладинах было подвешено множество прямоугольных, круглых и треугольных гонгов. Все они, казалось, были изготовлены из разных материалов: иные сверкали, как золото, или же были полупрозрачны, словно жад; другие же были темны и непроглядны, как гагат. Напротив каждого гонга на серебряной проволоке был подвешен инструмент, похожий на молоточек.

Аверо принялся объяснять научную подоплеку своей машины. Он говорил о колебательных свойствах гонгов: высота их звучания настроена была таким образом, чтобы нейтрализовать все прочие космические вибрации, кроме эманаций зла. Невзирая на всю экстравагантность, рассуждения Аверо выглядели странно доходчивыми. Однако я не стану вдаваться в подробности, поскольку, в свете дальнейших событий, они дают лишь частичное и неполное

объяснение феноменов, которые, по сути, быть может, и вовсе не постижимы для человеческого разума. Рассуждения свои он закончил так:

– Мне недостает еще одного гонга, чтобы завершить инструмент, но я надеюсь вскоре его обрести. Треугольное помещение, задрапированное черным и лишенное окон, представляет собой идеальную среду для моего эксперимента. За исключением этой комнаты, более я ничего в доме и на прилежащих к нему землях менять не решился, опасаясь потревожить какой-нибудь существенный элемент или их взаимное расположение.

Я сильнее прежнего уверился в том, что Аверо безумен. И хотя он неоднократно распространялся о том, какое отвращение питает к злу, которое намеревался призвать, я чувствовал в его поведении некий извращенный фанатизм. Век, менее приверженный науке, он предался бы поклонению дьяволу, участвовал бы в отвратительных служениях черной мессы или изучал бы и практиковал колдовство. Он был по природе религиозен, однако же не научился прозревать добро, лежащее в основе мироустройства; и, лишенный добра, поневоле сделал предмет тайного поклонения само зло.

– Боюсь, вы думаете, будто я сошел с ума, – заметил он вдруг с необычайной пронизательностью. – Не хотите ли поприсутствовать при эксперименте? Мое изобретение еще не завершено, однако же, возможно, я сумею вас убедить, что этот механизм – не просто фантазии поврежденного рассудка.

Я согласился. Он включил в темной комнате свет. Затем прошел в угол и нажал скрытую там пружину либо выключатель. Проволоки, на которых были подвешены молоточки, принялись колебаться, и вот наконец каждый молоточек легонько коснулся соответствующего ему гонга. Получившийся звук был до крайности нестройным и тревожащим: воистину дьявольская музыка, не похожая ни на что из того, что мне доводилось слышать, невообразимо действующая на нервы. Казалось, будто в уши льется струя мелких стеклянных осколков.

Молоточки раскачивались все сильнее, удары делались все увесистей. Однако же, к моему изумлению, звук не становился громче. Напротив, этот жуткий лязг мало-помалу делался глуше и наконец превратился в некий слабый гул, исходивший, казалось, из какой-то немислимой глубины или дали. Однако и этот гул сохранял всю свою мучительность и тревожность – словно далекие ветра рыдают в преисподней или адское пламя шумит, разбиваясь о берега вечных льдов.

И Аверо сказал у меня за плечом:

– Сливающиеся звуки гонгов частично выходят за пределы человеческого восприятия. Когда я добавлю последний гонг, звук будет еще менее слышен.

Пока я пытался переварить эту непростую идею, я обратил внимание, что свет над треножником и стоящим над ним странным аппаратом несколько потускнел. В воздухе формировался чуть видимый вертикальный столп тьмы, окутанный полутьной более слабого мрака. Сам треножник, проволоочки, гонги, молоточки – все сделалось слегка размытым, будто бы я смотрел сквозь некую полупрозрачную вуаль. Центральный столп и окутывавшая его полутьма, казалось, расширились; и, взглянув на пол, где внешняя граница затемнения, повторявшая очертания комнаты, ползла все ближе к стенам, я увидел, что мы с Аверо очутились внутри этого призрачного треугольника.

Одновременно с этим на меня нахлынуло непреодолимое уныние вкупе со множеством иных ощущений, которые я отчаиваюсь передать словами. Само мое ощущение пространства исказилось и изменилось, как если бы некое неведомое измерение вторглось и каким-то образом смешалось с нашим. Я как будто свершал ужасающее, неизмеримое нисхождение, словно пол уходил вниз, унося меня в некую бездну; казалось, я покинул пределы комнаты в потоке клубящихся, бредовых образов, зримых, но незримых, осязаемых, но неосязаемых, и куда жутче, куда кошмарнее, чем вихрь погибших душ, который видел Данте.

Вниз, все вниз, казалось, падал я, в бездонный, фантомный ад, что вторгся в реальность. Смерть, разложение, злоба, безумие собрались в воздухе и гнели меня подобно сатанинским инкубам в этом чудовищном экстазе падения. Я ощущал, что вокруг тысяча форм, тысяча лиц, исторгнутых из погибельных пропастей. И однако, видел перед собой лишь белое лицо Аверо, искаженное застывшим, чудовищным восторгом, в то время как он падал рядом со мной.

Каким-то образом, подобно сновидцу, что вынуждает себя проснуться, он начал удаляться от меня. Я как будто бы на миг потерял его из виду, средь облака безымянных, нематериальных ужасов, что грозили обрести дальнейший ужас существования. Потом я осознал, что Аверо повернул выключатель и колеблющиеся молоточки прекратили ударять по этим адским гонгам. Двойной столп тьмы и теней растаял в воздухе, ноша отчаяния и ужаса была снята с моих нервов, я более не испытывал гнусных галлюцинаций падения в преисподнюю.

– Мой Бог! – вскричал я. – Что это было?!

Аверо обернулся ко мне. На лице у него застыло жуткое, злорадное ликование.

– О, так вы видели, вы чувствовали это?! – спросил он. – Это смутное, несовершенное проявление совершенного зла, что существует где-то там, в космосе? Мне еще предстоит призвать его во всей полноте и познать черный, бесконечный, низжайший экстаз, коим сопровождается его злоявление!

Я отшатнулся от него, невольно содрогнувшись. Все те гнусности и ужасы, что кишели вокруг под какофонический грохот проклятых гонгов, вновь на миг приблизились и обступили меня; с пугливым головокружением смотрел я в бездны извращения и погибели. Я видел вывороченную наизнанку душу, отчаявшуюся в добре и жаждущую злокозненных восторгов разложения. Он больше не казался мне обычным безумцем, ибо я знал, что он способен обрести то, что ищет. Я вспомнил строчку Бодлера: «L'enfer dont mon coeur se plaît», – и она обрела для меня новый смысл.

Аверо не заметил моего отвращения, упиваясь своей мрачной рапсодией. Когда же я собрался уходить, ибо был не в силах долее выносить кошмарной атмосферы этой комнаты и ощущения странной порочности, исходящего от хозяина, он принялся настаивать, чтобы я пришел снова, чем скорее, тем лучше.

– Я думаю, – радостно твердил он, – что все будет готово в ближайшее время. Я хочу, чтобы вы присутствовали в час моего триумфа!

Не помню, что я сказал, какие отговорки я выдумал, чтобы от него отделаться. Мне не терпелось удостовериться, что мир незамутненного солнца и неотравленного воздуха существует по-прежнему. Я вышел из дома; однако тень преследовала меня, и отталкивающие лица, ухмыляясь, выглядывали из ветвей, когда я шел прочь через парк, где росли кипарисы.

Несколько дней я пребывал на грани нервного расстройства. Невозможно подойти так близко к первозданным эманациям зла, как довелось мне, и остаться незатронутым. Все мои мысли оплетала темная вредоносная паутина, и безликие страхи, безобразные ужасы громоздились в полуосвещенных закоулках моего сознания, но ни разу не проявились открыто. Казалось, незримая пропасть, бездонная, как Злые Щели, зияла предо мною, куда бы я ни шел.

Со временем, однако, разум мой вновь обрел равновесие; и я задался вопросом, не были ли мои ощущения в черной треугольной комнате всего лишь следствием внушения или самогипноза. Я спрашивал себя, вероятно ли, чтобы космическая сила, подобная той, существование которой Аверо принимал за аксиому, существовала на самом деле; и даже если она, допустим, существует, способен ли человек ее призвать при посредстве какого-то абсурдного музыкального автомата. Пережитые мной нервирующие кошмары несколько потускнели в памяти; и хотя тревожные сомнения по-прежнему меня преследовали, я убедил себя, что все испытанное мною было чисто субъективно. Но даже и тогда я лишь с крайнею неохотой, с внутренней дрожью отвращения, которую преодолел лишь великой решимостью, посетил Аверо еще раз.

На стук мой никто не отзывался еще дольше, чем в прошлый раз. Потом раздались торопливые шаги, и Фифина рывком распахнула дверь. Я тотчас понял, что случилось нечто скверное, потому что на лице мулатки застыли сверхъестественный страх и тревога: глаза у нее были расширены, так что сделались отчетливо видны белки, словно бы она видела перед собою нечто ужасающее. Она попыталась заговорить, издавая те жуткие бессвязные звуки, которые иногда производят немые, схватила меня за рукав и потащила за собой через угрюмый вестибюль к треугольной комнате.

Дверь стояла распахнутой; и, приблизясь, я услышал низкий, диссонирующий, раскати-стый гул, в котором узнал звук гонгов. Это было точно голос всех душ в ледяном аду: звуки, исторгаемые губами, что медленно стынют, перед тем как смолкнуть навсегда в вечном немом страдании. Звук делался все глуше и глуше, пока не стало казаться, будто он исходит из бездн ниже самого надира.

Дойдя до порога, Фифина отшатнулась, жалостным взглядом умоляя меня, чтобы я вошел первым. Все лампы в комнате были включены; и Аверо, облаченный в странный средневековый костюм – мантию и шапочку вроде тех, какие, должно быть, носил доктор Фауст, – стоял рядом со своим ударным инструментом. Молоточки лихорадочно колотили по гонгам; и чем ближе я подходил, тем глуше и напряженной звучал их гул. Аверо меня даже не заметил: его глаза, ненормально расширенные и пылающие некой адской похотью, словно у одержимого, были прикованы к чему-то висящему в воздухе.

И вновь меня охватила леденящая душу мерзость; ощущение бесконечного падения, мириад клубящихся вокруг ужасов, подобных гарпиям, нахлынуло на меня, когда я взглянул – и увидел. Огромнее и мощнее прежнего, двойная трехгранная колонна тьмы и тени материализовалась и становилась все отчетливей и отчетливей. Она пухла, она темнела, она окутывала гонг-машину и вздымалась к потолку. Внутренний столп сделался непроницаем, словно эбеновое дерево или черный мрамор; и лицо Аверо, который стоял в широкой полосе полутени, выглядело смутным, точно сквозь толщу стигийских вод.

Должно быть, на время я полностью лишился рассудка. Я помню лишь бредовое кишение образов, чересчур кошмарных, чтобы здравый ум способен был это выдержать, населяющих бескрайнюю пропасть порожденных преисподней иллюзий, куда я погружался с безнадежной неотвратимостью проклятых. Невыразимая тошнота, головокружительное невозвратное падение, пандемониум мерзостных фантомов, что вились и колыхались вокруг столпа всемогущей злокозненной силы, которая властвовала надо всем. Аверо был всего лишь одним из видений этого бреда, когда, раскинув руки в агонизирующем восторге своего извращенного преклонения, он шагнул ко внутреннему столпу, вступил в него и скрылся из виду. Видением была и Фифина, пробежавшая мимо меня вдоль стены и повернувшая выключатель, управляющий этими дьявольскими молоточками.

Подобно человеку, приходящему в себя после обморока, я увидел, как двойной столп принялся тускнеть, и вот наконец свет вновь вспыхнул ярко, не запятнанный примесью этого сатанинского излучения. И на том месте, где был столп, подле своего злополучного изобретения по-прежнему стоял Аверо. Он стоял неподвижно и прямо, в странном оцепенении; и я, не веря собственным глазам, ощутил отвращение и ледяной священный ужас, когда подошел и коснулся его дрожащей рукою. Ибо то, что я видел и осязал, было уже не человеком, но эбеновой статуей, чьи лицо, и лоб, и пальцы были черны, как Фаустово одеяние или угрюмые занавеси на стенах. Словно бы опаленные темным пламенем или застывшие в черном холоде, черты его единили экстаз и муку, кои испытывает Люцифер на дне своего ледяного ада. На миг то высшее зло, которому Аверо поклонялся столь безумно, которое он призвал из немыслимо удаленных просторов космоса, слилось с ним в единое целое; и, удалившись, оставило его окаменевшим подобием своей собственной сути. Фигура, которой я коснулся, была тверже мра-

мора; и я знал, что она пребудет вовеки, как свидетельство бесконечного могущества Медузы, имя коей – смерть, разложение и тьма.

Фифина кинулась к ногам истукана и обнимала его бесчувственные колени. Преследуемый ее ужасными бессловесными стенаниями, я в последний раз переступил порог той комнаты и никогда более не бывал в этой усадьбе. Миновали месяцы бреда, годы безумия; все это время я пытался избавиться от неодолимой одержимости этими воспоминаниями – тщетно. В мозгу у меня что-то онемело необратимо, как будто бы и он тоже слегка обуглился и почернел в эти мгновения непереносимой близости к темному лучу, явившемуся из бездн за пределами вселенной. В моем разуме, как и на лице черной статуи, что некогда была Жаном Аворо, подобно оттиску печати, навечно остался этот след ужасающего и запретного.

Сатир

Рауль, граф де ла Френэ, по натуре своей был начисто лишен подозрительности, столь свойственной многим мужьям. Отсутствие этого качества, возможно, отчасти объяснялось недостатком воображения, а с другой стороны, несомненно являлось результатом притупления наблюдательности вследствие излишнего пристрастия графа к крепким аверуанским винам. Как бы то ни было, он не видел ничего предосудительного в дружбе его жены Адели с Оливье дю Монтуаром, молодым поэтом, который мог бы со временем составить конкуренцию самому Ронсару как одна из ярчайших звезд «Плеяды», если бы не одно непредвиденное и роковое происшествие. По правде говоря, господин граф скорее гордился, наблюдая за тем, какой интерес проявляет к госпоже графине этот милый образованный юноша, чьи уста уже пригубили вод волшебного ключа Геликона и чья слава создателя звучных вилланел и изящных баллад начала стремительно распространяться далеко за пределами Аверуани. Нимало не беспокоило Рауля и то обстоятельство, что многие из этих баллад и вилланел весьма недвусмысленно восхваляли несомненные достоинства Адели и открыто упоминали ее локоны цвета темного вина, ее золотистые глаза, а также великое множество иных прелестей, не менее соблазнительных и столь же существенных для женского совершенства. Господин граф не претендовал на роль знатока поэзии: как и многие, он считал, что она весьма далека от здравого смысла и не имеет ровным счетом никакой практической ценности; при любом столкновении с чем-нибудь рифмованным или же написанным в размер умственные способности графа парализовало. Между тем баллады и их автор постепенно позволяли себе все больше и больше вольностей.

В тот год ласковое весеннее солнышко растопило суровые зимние снега за неделю, и земля оделась в нежные оттенки хризолита и хризопраза. Оливье все чаще появлялся в замке Френэ, и они с Аделью подолгу оставались наедине, ибо то, что они так горячо обсуждали, не представляло для господина графа ни малейшего интереса, даже если предмет их беседы не выходил за рамки его понимания. Теперь молодые люди иногда выбирались за пределы замка, чтобы побродить по лесу, который, подобно морю весенней зелени, подступал вплотную к серым стенам и башням, и понежиться на нагретых солнцем полянах, где воздух был напоен тонким ароматом первых полевых цветов. Если люди и злословили о них, то исключительно за глаза, и слухи эти не достигали ушей Рауля, Адели или Оливье.

Так все и шло бы дальше своим чередом, если бы господин граф вдруг невесть почему не озабочился чистотой своей супружеской репутации. Возможно, в перерыве между охотой и возлияниями, занимавшими все его время, он неожиданно заметил, как жена молодеет и хорошеет с каждым днем, чего никогда не случается с женщинами, если их не согревают волшебные лучи любви. Не исключено, что он перехватил нежный взгляд, какими обменивались Адель и Оливье, или, быть может, под влиянием ранней весны хмельная дымка, что затуманивала его рассудок, слегка рассеялась, в душе смутно всколыхнулись давно забытые мысли и чувства, и он прозрел. Как бы то ни было, однажды в начале апреля, вернувшись в замок из Виона, куда он отлучался по делам, граф де ла Френэ узнал от слуг, что госпожа графиня в обществе Оливье дю Монтуара несколькими минутами ранее отправилась прогуляться по лесу, и огорчился. На хмуром лице его не отразилось, впрочем, никаких чувств. Задумавшись на миг, граф спросил:

– Какой дорогой они пошли? Я должен сейчас же увидеть госпожу графиню.

Слуги указали ему направление, и он медленно зашагал по тропинке в сторону леса, пока не скрылся с их глаз. Затем он схватился за эфес шпаги и, резко ускорив шаг, углубился в лесную чащу.

– Я немного боюсь, Оливье. Может быть, остановимся здесь?

Адель и Оливье на сей раз забрели дальше, чем обычно заводили их прогулки, и теперь приближались к той части Аверуанского леса, где деревья были много старше и выше. Говорили, что некоторые из этих исполинских дубов росли здесь еще с языческих времен. Сюда почти никто никогда не заходил; среди крестьян издавна бытовали страшные поверья и легенды об этих местах. Здесь видели такие вещи, коих самое бытие наука сочла бы оскорблением, а религия – богохульством. Ходили слухи, что тех, кто осмеливался вторгнуться сюда, под зловещую сень этих древних чащ, всю оставшуюся жизнь преследовали несчастья и неудачи. Поверья сильно разнились, легенды были туманны, но все сходились на том, что в этом лесу незримо обитала враждебная человеку сила, некий изначальный дух зла, древнее самого Христа или Сатаны. Паника, безумие, одержимость или губительные пагубные страсти становились уделом тех, кто вторгся во владения этой силы. Были те, кто шептался об этом духе, были и те, кто рассказывал невероятные истории о его истинной природе, но благочестивым христианам не пристало даже слушать подобное.

– Пожалуйста, пойдемте дальше, – взмолился Оливье. – Взгляните, мадам, как древние деревья оделись в изумрудную свежесть апреля, с какой невинностью они ликуют, празднуя возвращение солнца.

– Но, Оливье, ведь люди болтают разное...

– Все это детские сказки. Пожалуйста, пойдемте дальше. Этот лес и впрямь находится во власти неодолимых чар, но это всего лишь чары красоты.

Действительно, как он и сказал, раскидистые дубы и буки покрылись нежной зеленой листвой, и лес дышал такой животворной и безмятежной радостью, что трудно было поверить страшным легендам и преданиям. В такие дни сердца, обуреваемые тайной любовью, полнятся желанием быть вместе бесконечно. После не слишком упорных возражений и настойчивых заверений Адель позволила Оливье убедить себя, и они продолжили свой путь.

По тропинке, протоптанной то ли дикими зверями, то ли людьми, молодые люди беспрепятственно углублялись в обитель мифического зла. Склонившиеся ветви ласкали их мягкой листвой, точно маня идти дальше, солнечные лучи проникали сквозь высокие кроны, подсвечивая прекрасные лилии, что цвели, таясь во мраке меж узловатых могучих корней. Стволы деревьев, искривленные и корявые, покрытые вековыми наплывами коры, уродливо горбились под грузом незапамятных лет, но от них исходило ощущение древней мудрости и спокойного дружелюбия. Адель то и дело вскрикивала от восторга, и ни она, ни Оливье не находили ничего зловещего или подозрительного в этом сочетании утонченной красоты и причудливой корявости старого леса.

– Разве я был не прав? – спросил Оливье. – Стоит ли бояться безобидных цветов и деревьев?

Адель улыбнулась, но ничего не ответила. Стоя в освещенном солнцем кругу, молодые люди смотрели друг на друга, охваченные чувством новой, завладевающей их сердцах близости. В безветренном воздухе витал пьянящий аромат, исходивший из какого-то незримого источника, – аромат, что, казалось, тайно говорил о желании и любовном томлении и призывал отдаться страсти. Непонятно было, что за цветок его издает, ибо под ногами росло великое множество неведомых цветов – с мясистыми колокольчиками чувственного белого и розового цветов, с кудрявыми переплетающимися лепестками, с сердцевинками, похожими на зияющие алые раны. Адель и Оливье смотрели друг на друга, точно ослепленные внезапной вспышкой пламени, и в крови у обоих неодолимо вскипал всепоглощающий зов, как будто они выпили любовного зелья. Одна и та же мысль явственно читалась в дерзком блеске глаз Оливье и в застенчивом румянце на щеках графини. Так долго скрываемая любовь, о которой ни один из них до сих пор не заявлял открыто, властно заговорила в сердцах обоих. Одинаково смущенные, они в неловком молчании продолжили прерванную прогулку.

Молодые люди не осмеливались взглянуть друг на друга, и ни один не заметил, как странно изменился лес вокруг; ни один не обратил внимания на то, как зловеще искривлены серые стволы по сторонам от тропы, как чудовищно и непристойно выглядят бледные грибы в полумраке, как сладострастно пламенеют на солнце головки цветов. Ослепленные желанием, опоенные мандрагорой страсти, влюбленные не видели и не слышали ничего вокруг; все, кроме пыла их тел, биения сердец и кипения крови, казалось им смутным, точно сон.

Дремучий лес все густел, и ветви смыкались над их головами, многожды усиливая тьму. Звериные глаза сверкали во мраке тайных нор искрами коварного рубина или холодного безжалостного берилла; в ноздри молодым людям ударил запах стоячей воды и прелой прошлогодней листвы, и наваждение, владевшее ими, слегка отступило.

Они остановились на краю окруженной валунами заводи, над которой густо переплетались ветви старых трухлявых деревьев, словно навеки застывших в припадке безумия. И тут из зарослей ольхи, тоже успевшей покрыться свежей листвой, на них уставилось чье-то лицо.

Видение было настолько неопишваемым, что в первое мгновение они не поверили своим глазам. Два рога проглядывали сквозь гриву нечесаных волос над получеловеческим-полужвериным лицом с раскосыми глазками, клыкастым ртом и бородой, щетинистой, как шкура вепря. Это лицо было старым, неизмеримо старым; неисчислимые лета похоти избородили его морщинами и складками, и весь его облик дышал медленно, нескончаемо, долгие века копившейся злобой и порочностью. То было лицо Пана, глядевшего на застигнутых врасплох путников из своей потаенной чащи.

Ужас охватил молодых людей – им сразу вспомнились древние предания. Любовное наваждение рассеялось, и неутоленные желания утратили свою власть. Точно очнувшись от глубокого забытья, они увидели кошмарное лицо и сквозь бешеное биение собственных сердец услышали взрывы дикого, злобного, панического хохота, а потом видение вновь исчезло среди ветвей.

Дрожа, Адель впервые бросилась в объятия возлюбленного.

– Вы видели? – прошептала она, прижимаясь к нему.

Оливье привлек ее к себе. В этой сладостной близости пережитый всего миг назад ужас сделался неправдоподобным, нереальным. Вероятно, это двойные чары усыпили его страх, и теперь он уже не знал, было ли мимолетное видение лишь игрой солнечного света в ольховой листве или им и впрямь являлся легендарный демон, обитатель Аверуанского леса. Собственный испуг теперь показался Оливье глупым и беспричинным. Он даже испытывал нечто вроде благодарности к этому видению, чем или кем бы оно ни было, ибо именно оно толкнуло Адель в его, Оливье, объятия. Он не мог думать ни о чем, кроме этих теплых приоткрытых губ, которых он так долго жаждал. Оливье начал успокаивать возлюбленную – он хотел, чтобы она забыла свои страхи, он убеждал ее в том, что все это ей просто почудилось, и его утешения очень быстро перешли в пылкие признания в любви. Губы влюбленных соприкоснулись... и вскоре оба забыли о явившемся им сатире.

Они лежали, слившись в объятиях, на ложе золотистого мха, где солнечные лучи пробивались сквозь единственный просвет в густой листве, когда Рауль нашел их. Любовники не видели и не слышали его; первым и последним, что оповестило их о его появлении, был удар шпагой, которую он всадил в тело Оливье с такой силой, что острие пронзило его насквозь и вошло в грудь Адели.

Адель закричала и забилась под трупом Оливье, и тот несколько раз безжизненно дернулся в такт. Рауль выдернул шпагу и вторым ударом прикончил женщину. Потом с чувством безотчетного удовлетворения оттого, что отомстил за свою попорченную честь как подобало, в глухой тоскливой растерянности, смутно недоумевая, что это было такое, посмотрел на своих жертв.

Оба они уже совершенно затихли, как и полагалось любовникам, заколотым прямо на ложе греховных наслаждений. Темный лес, куда редко отваживались забредать люди, ни шорохом, ни вздохом не выдавал ничьего присутствия. Потому-то господин граф неимоверно испугался, услышав злобный нечеловеческий смех, дикий и безумный дьявольский хохот, донесшийся из зарослей ольхи.

Рауль вскинул окровавленную шпагу и взгляделся в сплетение темных ветвей, но ничего не увидел. Смех прекратился, и воцарилось безмолвие. Граф перекрестился и поспешно зашагал обратно по тропе, которая привела его сюда.

«Сатир»: альтернативный финал

Они лежали на ложе золотистого мха, где солнечные лучи пробивались сквозь единственный просвет в густой листве, когда Рауль нашел их. Любовники не видели и не слышали его, застывшего с обнаженной шпагой при виде их преступного счастья.

Граф готов был наброситься на них и пронзить обоих одним ударом, но тут произошло нечто непредвиденное и совершенно немыслимое: бурое косматое существо, не человек и не зверь, но дьявольская помесь того и другого, с невероятной быстротой выскочило из ольховых зарослей и вырвало Адель из объятий Оливье. Оливье и Рауль успели увидеть его лишь мельком, и ни один впоследствии не мог внятно описать, что видел. Но это было то самое лицо, что скалилось на влюбленных из зарослей, а заросшие шерстью ноги и тело были точь-в-точь как у существа из древних легенд. Он исчез внезапно, как и появился, унося в своих объятиях женщину, и ее полным ужаса крикам вторил его безумный дьявольский смех.

Потом и крики, и смех затихли вдали, в зеленой лесной тиши, и воцарилось безмолвие. Раулю и Оливье оставалось лишь смотреть друг на друга в полном оцепенении.

Крипты памяти

Миллионы и миллионы лет назад, в эпоху, чьи прекрасные миры давно погибли, от чьих могучих солнц не осталось и тени, я обитал на звезде, чей путь, нисходящий с высоких, невозвратимых небес былых времен, уже тогда близился к пропасти, в коей, как говорили астрономы, ее исконному круговороту предстояло обрести свой темный, катастрофический конец.

О, сколь странна была та забытая в безднах звезда – куда страннее, нежели любые мечты мечтателей сегодняшних сфер, нежели любые видения, нисходившие на провидцев в их послезнании сидерического былого! Там, на протяжении циклов истории, чьи нагромождения бронзовых скрижалей не поддавались уже систематизации, число мертвых в конце концов многократно превысило число живых. И города их, выстроенные из камня, не разрушимого иначе, как в горниле солнц, вздымались подле городов живущих, подобно головокружительным обителям Титанов, чьи стены скрывают тенью окрестные селенья. И превыше всего был черный погребальный свод таинственных небес – купол бесконечных сумерек, где зловещее солнце, висящее, точно одинокая громадная лампа, не в силах озарить и вновь призвать свои огни от лика неразрешимого эфира, роняло растерянные, безнадёжные лучи на далекие смутные горизонты и окутывало беспредельные окоемы страны видений.

Мы были угрюмый, скрытный народ, обуянный множеством скорбей, – мы, обитавшие под этим небом извечного полумрака, пронизанного высящимися гробницами и обелисками былых эпох. В крови у нас был холод древней ночи времени, пульс сбоил в крадущемся предзнании медленной Леты. Над нашими дворами и полями, подобно незримым ленивым вампирам, рожденным в мавзолеях, взмывали и кружили черные часы, с крылами, источавшими пагубную истому, что возникает из темного горя и отчаяния погибших эпох. Самые небеса были отягощены унынием, и мы дышали под ними, точно в усыпальнице, навеки замурованные в стоялой атмосфере гнили и медленного разложения, во тьме, проницаемой лишь для всепожирающих червей.

Жили мы смутно и любили точно во сне – в тусклом, мистическом сне, что витает на грани бездонного забвения. К нашим женщинам с их блеклой, фантомной красотой мы испытывали то же самое желание, что, должно быть, влечет мертвецов к призрачным лилиям на лугах Гадеса. Дни свои мы проводили, скитаясь по руинам заброшенных, забытых городов, чьи дворцы из узорной меди и улицы, проложенные меж рядов обелисков чеканного золота, лежали тусклые и жуткие под лучами мертвого света или навеки утонули в морях стоялой тени; городов, чьи просторные, железновыстроенные храмы все еще хранили сумрак первозданного таинства и благоговения, из которого подобия богов, много веков как забытых, взирали неизменными очами на лишённые надежды небеса и видели там тьму кромешную, полное забвение. Спустя рукава мы ухаживали за своими садами, где седые лилии источали некромантический аромат: он имел силу пробуждать для нас мертвецов и призрачные сны о прошлом. Или же, скитаясь истлевшими полями, где царила вечная осень, мы искали редкие, таинственные иммортели с темными листьями и белесыми лепестками, что распускались под сенью ив с их вуалью поникшей листвой; или плакали над сладкой, напитанной забвением росой у текучего безмолвия вод Ахерона.

А потом мы умерли, один за другим, и канули в пыли времен. Годы были для нас не более чем шествием теней, и сама смерть была лишь переходом сумерек в ночь.

Планета мертвых

I

По профессии Фрэнсис Мельхиор был антикваром, по призванию же – астрономом. Таким образом он умудрялся если и не полностью удовлетворить, то по крайней мере отчасти унять обе потребности, свойственные довольно сложному и необычному характеру. Профессия позволяла ему в полной мере утолить жадность до всего, что осталось погребенным среди траурных теней мертвых эпох в тусклом янтарном сиянии давно закатившихся солнц, всего, что хранило в себе не поддающиеся разгадке тайны ушедших времен. Призвание же давало ему возможность проложить путь к экзотическим мирам далекого космоса, где только и могли обрести свободу его фантазии и воплотиться мечты. Мельхиор относился к числу тех, кто с первого дня жизни питал неизлечимое отвращение ко всему, что его окружало здесь и сейчас; он поистине упивался забвением, не в силах забыть трансцендентную красоту иных миров и эпох, откуда он был изгнан, родившись в человеческом теле, и порой с исчезающих в тумане берегов утерянных владений к нему возвращались беспокойные мысли и неутолимые желания. Для таких, как он, Земля чересчур тесна, а отпущенное для жизни время слишком коротко. Везде он видел вокруг себя лишь пустоту и бесплодие, и уделом его становилась нескончаемая скука.

Воистину удивительно, что при подобной предрасположенности, обычно не способствующей деловой хватке, в своем занятии Мельхиор вполне преуспевал. Питая любовь к древностям, редким вазам, картинам, мебели, драгоценностям, идолам и статуям, он скорее готов был покупать, чем продавать, и сделки его зачастую становились поводом для тайной душевной боли и сожалений. И тем не менее ему все же удалось обеспечить себе определенную степень финансового комфорта. По природе своей он был одиночкой, и большинство окружающих считали его чудаком. Его никогда не привлекала женитьба, не было у него и близких друзей, а равно и многих интересов, которые, с точки зрения рядового гражданина, должны быть у нормального человека.

Страсть Мельхиора к древностям и его увлечение звездами зародились еще в детстве. Теперь же, на тридцать первом году жизни, добившись определенного богатства и обзаведясь свободным временем, он превратил верхний балкон своего пригородного дома на вершине холма в любительскую обсерваторию, где с помощью нового мощного телескопа каждую ночь исследовал летнее небо. Не обладая особым талантом и склонностью к сложным математическим расчетам, составляющим немалую часть традиционной астрономии, он тем не менее интуитивно понимал бескрайнюю громадность небес, мистическим образом чувствуя все, что находится в космических далях пространства. В своем воображении он отважно блуждал среди солнц и туманностей, и каждая крошечная светящаяся искорка в окуляре телескопа, казалось, рассказывала ему свою историю, приглашая в неповторимый мир за пределами земных фантазий. Его не слишком заботили названия, данные астрономами отдельным звездам и созвездиям, однако все они обладали для него индивидуальностью, не позволявшей спутать их друг с другом.

В особенности привлекало Мельхиора одно крошечное далекое созвездие к югу от Млечного Пути, едва различимое невооруженным глазом. Даже в телескопе оно создавало ощущение космического одиночества и отдаленности, каких раньше не вызывало ни одно небесное тело. Созвездие это притягивало его куда больше, чем окруженные спутниками планеты и ярко сияющие звезды первой величины. Он возвращался к нему снова и снова, ради этой одино-

кой светящейся точки забывая об изумительном многообразии колец Сатурна, облачной зоне Венеры и замысловатых завитках туманности Андромеды.

Долгими ночами размышляя о своем неотвязном влечении к этой звезде, Мельхиор пришел к выводу, что тонкий лучик, который он видит, на самом деле исходит от некоего солнца, возможно окруженного планетной системой, и в свете его заключена тайна иных миров, а может, даже отчасти и их история, – о, если бы только удалось ее прочесть! Из всех сил Мельхиор стремился понять и постичь загадочную тягу, что влекла его к этой звездной сфере. Иногда, глядя на звезду, он чувствовал неясное томление, манящее таинственное очарование, превосходящее самые смелые его фантазии и невероятные мечты, которые, казалось, с каждым разом становились чуть ближе, делаясь все достижимее. Постепенно к ним начало примешиваться какое-то смутное предвкушение, заставлявшее его совершать ежевечерние визиты на балкон.

Однажды в полночь, когда Мельхиор, по обыкновению, смотрел в телескоп, ему вдруг почудилось, будто звезда стала чуть больше и ярче обычного. Не в силах найти этому объяснение, он вгляделся в нее внимательнее, и внезапно его охватило чувство, будто он смотрит вниз, в бескрайнюю головокружительную бездну, а не в небесный зенит. Балкон ушел у него из-под ног, точно перевернувшись, а затем Мельхиор ощутил, что падает вниз головой в космическое пространство, окруженный миллионами молний и языков пламени. На мгновение ему показалось, что далеко внизу, в жуткой бездне, он видит звезду, за которой все это время наблюдал, а потом он ненадолго забылся и больше уже не мог ее отыскать. От нескончаемого, все ускоряющегося падения у него невыносимо закружилась голова, а несколько мгновений или, может, вечностей спустя молнии и пламя погасли, сменившись крошечной тьмой и глубочайшей тишиной, и он более не ощущал, что падает, полностью лишившись каких-либо чувств.

II

Когда Мельхиор пришел в себя, первым его побуждением было схватиться за подлокотник кресла, в котором он сидел перед телескопом, – естественный, невольный жест любого человека, который падал во сне. Мгновение спустя он осознал всю абсурдность своего порыва, ибо он вовсе не сидел в кресле, а окружавшая его обстановка ничем не походила на ночной балкон, где с ним случился странный приступ и откуда он, казалось, свалился в бездну и затерялся в ней.

Он стоял на дороге, вымощенной циклопическими плитами серого камня, – дороге, что убегала перед ним в бесконечность, исчезая вдаль, среди туманных, потрясающих очертаний чужого мира. Вдоль дороги росли невысокие деревья с поникшими, словно в трауре, ветвями, с темной листвой и фиолетовыми плодами, а за ними ряд за рядом простирались нагромождения монументальных обелисков, бесчисленные террасы и купола колоссальных строений самых разнообразных форм, и этот лабиринт зданий в бесконечной перспективе тянулся прочь до неразличимого горизонта. С эбеново-пурпурного неба лились на землю обильные неблестящие лучи, порождаемые сиявшим в нем кроваво-красным солнцем. Формы и пропорции зданий не походили ни на одно из творений земной архитектуры, и на какое-то мгновение Мельхиор был поражен их количеством и величиной, их чудовищным и невообразимо странным обликом. Но, приглядевшись, он понял, что они вовсе не чудовищные и не странные; он узнал их, он помнил их именно такими, какими они и были всегда, он узнал мир, по дорогам которого ступали его ноги, вспомнил цель, к которой он стремился, и роль, которую ему суждено сыграть. Воспоминания обрушились на него с неизбежностью – так подлинные порывы и поступки возвращаются к любому, кому довелось одно время исполнять некую драматическую роль, совершенно чуждую его реальной личности. Хотя он помнил о событиях своей жизни как Фрэнсиса Мельхиора, воспоминания эти становились все туманнее, малозначительнее и гротескнее; словно в

миг пробуждения ото сна, они сменялись знакомым осознанием себя, возвращением в реальность настоящих воспоминаний, вновь оживших эмоций и ощущений. Его не удивило, что он попал в другое состояние бытия, со своей средой обитания, со своим прошлым, настоящим и будущим, которые показались бы невообразимо чуждыми астроному-любителю, за несколько мгновений до этого смотревшему на крошечную далекую звездочку в небесных просторах; напротив, он чувствовал, что вернулся домой, к своей родной и привычной обстановке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.